

ВЯЧЕСЛАВ СОФРОНОВ

СИБИРИАДА

НЕПОВОРИМЫЙ
МИРОВИЧ



Сибиряда. Собрание сочинений

Вячеслав Софронов

Непоборимый Мирович

«ВЕЧЕ»

2018

Софронов В. Ю.

Непоборимый Мирович / В. Ю. Софронов — «ВЕЧЕ»,
2018 — (Сибириада. Собрание сочинений)

ISBN 978-5-4484-7272-5

Повелением императора Петра I весь род Мировичей был сослан из теплой цветущей Полтавы в холодную Сибирь. На долю главного героя, Василия Мировича, также выпадают суровые испытания: потеря в раннем возрасте родителей, обучение в Кадетском корпусе, участие в знаменитом Гросс-Егерсдорфском сражении в Пруссии, а случайное знакомство с офицером секретной службы приводит его на рождественский бал к наследнику престола, где он неожиданно получает жестокий урок. Исторических документов о Василии Мировиче практически не сохранилось, автор предлагает возможную биографию и обстоятельства жизни, при которых сформировался характер героя, известного благодаря неудачной попытке освобождения наследника российского престола из Шлиссельбургской крепости. Роман «Непоборимый Мирович» популярного сибирского писателя Вячеслава Софронова является третьей частью тетралогии, посвященной государю Иоанну VI Антоновичу, открывая неизвестные страницы исторического прошлого.

ISBN 978-5-4484-7272-5

© Софронов В. Ю., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

Содержание

От автора. Каков век – таковы и герои...	5
Предисловие. Земля сибирская богатырская	7
Часть I	9
Глава 1	9
Глава 2	31
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Вячеслав Софронов

Непоборимый Минович

От автора. Каков век – таковы и герои...

Однажды мне пришло письмо из уже как два десятилетия независимой Украины. Писала женщина. Она просила помочь восстановить родословную ее предков, которые носили фамилию Миновичей. О моем интересе к этому роду она узнала, судя по всему, из одной из публикаций. В архивах Украины не сохранилось каких-либо документов на этот счет, и она надеялась, что ей помогут в этом плане архивы Сибири, где семейство Миновичей довольно долго проживало.

Увы, документов начала XVIII столетия в сибирских архивах сохранилось крайне мало, а количество сосланных в ту пору было столь велико, что не на каждого и дело заводили. Хотя после неудачной попытки Василия Миновича свергнуть императрицу Екатерину II и возвести на престол находившегося в заключении одного из законных наследников рода Романовых – Иоанна Антоновича, – Миновичи прочно вошли в анналы не только российской, но и мировой истории, поэтому все документы, с ними связанные, должны быть хорошо известны. Но ни метрик о рождении Василия Миновича, ни ведомостей за период его обучения в тобольской семинарии найти пока не удалось. Правда, в XIX веке в губернской газете была опубликована небольшая заметка на этот счет, но без указаний автора, откуда эта информация почерпнута.

Впрочем, в Российском государственном историческом архиве хранится следственное дело, связанное с попыткой свержения Екатерины II, но узнать из него что-то о самом Василии Миновиче, а тем более о его предках, не представляется возможным. К тому же само «Дело» имеет явные следы подчистки, что тоже говорит о желании властей утаить подлинную информацию о произошедшем событии и не придавать ему широкую огласку. Мало того, ряд исследователей указывают на очевидную неподготовленность самого Миновича к якобы задуманному им перевороту. Если следовать фактам, то он решился в одиночку освободить из Шлиссельбургской крепости находившегося там царственного узника и возвести его на престол. И ни одного сообщника! За исключением его друга Аполлона Ушакова, погибшего незадолго до того при таинственных обстоятельствах.

Сам же Василий Минович, находясь на воинской службе, непонятным образом попал в Шлиссельбургскую крепость в качестве одного из начальников отряда, несущего ее охрану. Он заранее написал манифест о низложении императрицы и начале царствования Иоанна Антоновича, которого он лично собирался доставить в Петербург. Далее. Минович, находясь в Шлиссельбурге, не имея сообщников, каким-то образом узнал, когда императрица отправляется в длительную поездку по стране, и только после этого предпринял попытку переворота. Что он собирался предпринять после освобождения законного наследника российского престола, совершенно непонятно. То ли он ожидал, что все рядовые граждане, включая армию, поддержат его, то ли хотел привезти принца (опять же в одиночку) в карете в Петербург и ввести во дворец, то ли попытался бы вывезти его за границу империи... Еще более непонятно, что он намеревался предпринять с царствующей императрицей. Выслать на родину в Германию? Взять под стражу? Казнить? Или же ей было бы предложено выйти замуж за вчерашнего узника? При ближайшем рассмотрении неудавшегося переворота возникает множество вопросов. Но, что любопытно, на следствии ни один из этих вопросов подследственному задан не был.

В то же время, если Минович был настолько информирован обо всем происходящем вне Шлиссельбурга и в самой крепости, то он просто не мог не знать, что при Иоанне Антоновиче

круглые сутки находились два охранника, которым было приказано (царским указом!) умертвить его в случае попытки к освобождению. Что они и исполнили, едва только Минович начал штурм. Однако непонятно, куда исчез труп царевича, поиски которого ведутся по сей день.

Сопоставив все известные нам факты, нетрудно прийти к очевидному выводу: Миновича кто-то направлял, подталкивал к перевороту. Наверняка то был не один человек, а группа единомышленников, хорошо знавших о каждом его шаге. Кому это было нужно и кто задумал псевдопереворот? Тот, кому мешал царственный пленник. В стране, да и в Европе могли найтись силы, желавшие устранить императрицу Екатерину II и посадить на трон безвольного, на их взгляд, полуграмотного царевича. Можно предположить, что инициатором «переворота» могла быть сама императрица, хорошо осознававшая незаконность своего правления. Но если это так, то она, скорее всего, могла и не знать все нюансы задуманного ее окружением мероприятия. Исполнителей ее воли было предостаточно, о чем говорит дело той же княжны Таракановой, бывшей также потенциальной претенденткой на престол.

Можно усмотреть в неудавшемся перевороте и внешних врагов императрицы, решившихся таким образом испытать удачу и посмотреть, что из этого получится. Недаром восемнадцатое столетие поименовано веком дворцовых переворотов, в чем участвовали многие лица, начиная с жены Петра I, Екатерины I, и заканчивая убийством императора Павла I, сына Екатерины II. Сюда следует еще добавить многочисленных самозванцев, включая главного из них – Емельяна Пугачева, выдававшего себя за императора Петра III. Так что заговорщиков хватало, дай только повод.

К сожалению, мне ничем не удалось помочь той женщине с Украины, пожелавшей восстановить родословную своих далеких предков Миновичей. Пусть она простит меня за это. Зато ее письмо подтолкнуло автора этих строк к попытке написать исторический роман об этой незаурядной личности – Минович в одиночку решился на героический поступок (иначе не назовешь) по освобождению невинного принца Иоанна. Нужно быть очень смелым и отважным человеком, чтобы пойти против государственной системы. И если даже кто-то руководил им с определенным умыслом, но сам Минович наверняка понимал, что его ждет в случае провала. Пусть даже он оказался слепым орудием в чьих-то руках, но он не захотел прозябания на малоперспективной должности, в которой пребывал. Его поступок можно воспринимать как вызов обществу, дворцовой камарилье, когда-то выславшей его предков из цветущей Украины в Сибирь, где многие из них остались навечно.

Нам, современникам, трудно понять и объяснить его поступок, но рано или поздно перед каждым из нас встает выбор: с кем ты?! И решает его каждый в зависимости от внутренних убеждений, соизмеряясь с собственными идеалами. В восемнадцатом веке, как мне кажется, люди были более решительны в борьбе за свои идеалы и шли на смерть, лишь бы вырваться из пресного, обыденного мира. Этим и можно объяснить многочисленные заговоры и смену династий, происходивших в не столь уж далеком от нас столетии. В любом случае личность Василия Миновича до сих пор вызывает интерес у всех, кто интересуется прошлым нашей отчизны, поэтому автор надеется, что читатели обратятся к предложенному им роману и составят свое собственное представление о той эпохе и ее героях.

Предисловие. Земля сибирская богатырская

Сибирь – Малороссия – Украина...

Сибирь – восточная окраина – (украина) государства Российского.

Малороссия – украина западная.

Земли разные, а люди все те же – русские. Только в центре – великороссы; на западе – малороссы, а на востоке – все вперемешку: и велико- и малороссы, и азиатцы.

Отсюда и схожесть судеб, нравов, бесшабашность да удалство непомерное. Только как бы человек ни пыжился, щеки ни надувал, а придет смертный час и сравняет всех, как ветер густую траву: ножки подогнутся, головка склонится до земли и ляжет промеж других молодецких голов, сплетаясь в единый ковер среди шумных трав и побегов. Пригласит ее Божья рука и благословит так лежать во имя будущей жизни, до воскресения всесветного...

Широка страна Сибиря... И всего в ней в достатке с немалым избытком: и лесов могучих, и рек бегучих, и зверя, и рыбы для ухи царской на тысячу лет хватит каждому едоку страждущему. Главное – не ленись, не жадничай, не губи зазря жизнь чужую, не тобой и не тебе даденную.

Всех сибирская вольница принимала. Сколько ни придут, а уголок малый всякому сыщется. И шли через Великий Камень люди. И шли и ехали. И из Великороссии и из Малороссии. Принимала их Сибирушка легко, как невеста сватов желанных, и привечала всякого, кормила яствами, досель невиданными. А вот обратно отпускала из глубин своих с потугом, с тяжелой сукровицей, не желая пуповину рвать меж собой и новым любимым своим. Такая за ней любовь водилась – не всякому по плечу, не каждому по силе. Коль слаб телесами, душонка узкая, для воли тесная, лучше не привыкай к ласкам смертным Матушки-Сибирушки, иначе наплачешься, наглотаешься страданий по самую холку, а то и повыше.

На все то Бог Саваоф сверху глядел, в седую бороду усмехался, радовался, что и украинная земля, людьми долго не обжитая, народцем полнится. Живут до поры до времени на свой лад, кто как сумел по отеческим заветам, пусть не всегда по божеским. Но как время придет, все сладится, по-иному сложится, устроится.

А каждый новый пришлый народец правил на свой манер дикий сибирский набег. Выправлял, разукрашивал неведомыми доселе красками и обычаями. Малоросская поросль сплеталась, скрещивалась с великоросской, подпитывалась темной сукровицей азиатской. Но корень оставался общий, и урожай с него, велик ли, мал ли, собирал один хозяин, той землицей из дальней Московии всем владевший. Только вот плоды сибирский корень имел разные и по вкусу и по пользе. Одни – спелые, для общего дела полезные; а иные – на вид красивы, румяны, а вот пользы от них никакой, сколь голову ни ломай, все одно не сыщешь.

Година за годиною корни древа людского врастали все глубже в толщу землицы непаханной, неухоженной, людским трудом не уваженной. Пара десятков лет прошла – стали те корни толще каната корабельного – не выдернешь, не выкорчуеть единым порывом. Разрослась, распласталась поросль людская, на каждом холмике семя свое бросила, приладилась к сибирскому суглинку от края до края землицы необжитой. Взошли семена, свезенные с России да Малороссии, из иных краев, переплелись меж собой и такой чащей встали, аж дух берет, захватывает...

Пришел срок, окрепли городки сибирские и потянулись в них люди подневольные, по царскому указу за грехи разные от привычной жизни отринутые. И тоже поровну – и с Великой Руси и с Малой, а доля страдальческая у всех одна, никакого различия меж ними сибирская сторона не делала, за всех за них одинаково печаловалась. Места на необжитой стороне вволю, хотя былой воли уже нет, что прежде те несчастные имели. Селились, кто где мог, только бы с голоду смерть не принять раньше времени, Богом отпущенного. И их страна Сибирушка при-

нимала, чем могла, одаривала. Не ленись, не лодырничай, начнешь жизнь сызнова, и потечет она не хуже ранешней. Никто и не вспомнит, каких ты кровей был. Тем росла и полнилась младшая дочь любая Руси-Матушки, с юных лет от нее вскормленная. А как подросла, созрела, стала верной помощницей.

Раскинулась страна Российская от моря до гор Карпатских. Посередке – земля издревле русская, а по разные стороны от нее – украины дальние: на одной стороне людей – что гороха в лукошке, а на другой – простор да воля, не углядеть, где и людская жизнь теплится. А народец – все одно сорту единого. Посев тот пошел от Главного Пахаря, населившего свой надел христианским племенем. Вера – она наиважней крови стоит. Та рано ли, поздно ли, обратно в землю уйдет, а вера – она на небесах живет, ее не замажешь иным цветом, на чет-нечет не поменяешь, сколь ни пробуй. Вера нам свыше дадена, и несть ее следует с почитанием, радостью и превеликим желанием. А кто от кого первой, раньше пошел, то сколько ни спорь, спознать невозможно.

И стояли так две украины крыльями по бокам от орла российского: одна – вражью рать на себя брала, а другая – войско русское солдатским строем полнила, подмогу подавала. И не зря землю Сибирскую родиной богатырей зовут. Кому в ней привелось счастье уродиться, тот непобедимым становился в любой сече и не боялся ни огня, ни булата, ни зрака вражеского. Если только землю свою родную пуще всего ценил, пестовал, поминал всю жизнь о своем званьи сибиряка – перешагни-горы...

Часть I

Сибирь – Петербург – Пруссия

Глава 1

ТОБОЛЬСК

1

В канун Благовещения по заледенелой от множества проезжающих саней и повозок дороге две бабы в длиннополых тулупах тащили со стороны реки по узенькой тобольской улочке бочку с водой. Одна из них перекинула веревку через правое плечо, а конец ее намотала на правую, одетую в овчинную рукавицу, ладонь. А ее подруге приходилось тащить еще и деревянное ведро с водой, и она лишь одной рукой слегка подсобляла своей товарке. Обе они шагали молча, сосредоточенно глядя под ноги, чтобы вовремя объехать наледь или выбоину, оставляемые на дороге конскими повозками. Изредка сзади с очередной упряжки слышался зычный крик и шелканье кучерского бича, и тогда бабам приходилось сворачивать прямо в снег, чтобы освободить проезд. Едва ли не каждый возница норовил сказать им что-нибудь едкое, с подковыркой, на что они с готовностью отвечали таким же крепким словом, да так, что задира, услышав и разобрав смысл сказанного, тут же поворачивался в их сторону, начинал дико хохотать и едва не вываливался из саней, крутя головой. Но никто не останавливался, не предлагал им свою помощь, поскольку у всех были на то свои причины. Поэтому обе бабы, не особо торопясь, с недолгими перерывами, не спеша, тащили санки дальше, пока не добрались до своей улочки, огибавший большой нарядный храм, и вскоре остановились у своих ворот.

Они не доводились родней друг другу, а всего лишь жили по-соседству, но с тех пор, как их мужей почти враз царь Петр призвал на службу и каждая осталась с тремя ребятами без кормильца и чьей-либо помощи, общая беда сблизила, породнила их. Незаметно потянулись они одна к другой, чаще стали захаживать в гости, и не сразу, а от случая к случаю, помогали в неотложных делах, делая трудную работу совместно. С тех пор житье у них стало как бы общее. Речь не шла о том, чтобы соединить два близенько стоящих дома в один, они не хотели оставлять родное жилье, но, едва проснувшись и выйдя на крыльцо, уже поглядывали на соседское окно: встали ли те, чем занимаются.

Частенько по очереди, а то и вместе, доили рыжую, недавно отелившуюся коровенку; ездили с соседским дедом через реку в лес по дрова; ставили на реке верши; меняли рыбу на муку или иную снедь; а вечерами одно из семейств шло в дом ко второму, где вместе ужинали, а иногда и размещались спать. Старшая из них, Катерина, предлагала на всю зиму перебраться к ней в избу, чтобы меньше шло дров. Но вторая, более молодая Ирина, не соглашалась, боясь, что ее пустой дом быстро вымерзнет, отсыреет и совсем сделается непригодным для жилья. Так они совместно пережили наиболее трудную зимнюю пору, а как солнышко стало пригревать и начал твердеть снег, увидели не только глазами, а почувствовали душой, сердцем: весна близко, совсем рядышком...

Дотащив бочку до Катеринино дома, они остановились. Ирина поставила ведро с водой на землю, глянула по сторонам. Тут она увидела, как к ним с соседней улицы одна за другой въехало несколько повозок, запряженных косматыми лошадьми, чьи гривы были обильно усыпаны гроздьями заледеневших комьев снега, а из ноздрей вырывались седые клубы пара. Пер-

вым на снег спрыгнул обвязанный вокруг пояса цветастым платком возница, воткнул за голенище обшитого кожей валенка кнут и осторожно, разминаясь, покрутил головой. То же самое сделали кучеры прочих возков, которых было не меньше полдюжины. И тогда вслед за ними из возков на свет стали выбираться приезжие: старики, бабы в возрасте и дети. Некоторые женщины бережно держали в руках свертки с пищащими в них младенцами, которых они на ходу баюкали, что-то негромко бормоча или напевая.

– Глянь, Ирка, никак опять к нам ссыльных привезли, – упирая руки в бока, удивленно произнесла Катерина. – Откуда их только везут?

– Да кто их знает! Поди, сами расскажут, – отозвалась ее подруга.

– Нет, ты только глянь, сколько их, – не унималась та. – Все везут и везут, скоро по нашей улочке не пройти, не проехать будет, а они все едут и едут...

– Да нам какое дело? Им там, в Москве ихней, видней. Раз отправляют, значит так надо...

– А гуторят-то совсем не по-нашему, – прислушавшись, заявила Катерина. – Немцы, что ли? Или иные кто...

– Мне вот думается, черкасы опять... – высказала предположение Ирина. – По одежкам вижу, никак с Киева или еще откуда с тех краев прибыли...

– Ладно, хватит глазеть, а то у нас с тобой вода скоро в бочке застынет, – подвела итог старшая Катерина. – Помоги-ка в дом кадку затащить...

С этими словами они взялись за привычную работу, не обращая внимания на приезжих. А те, собравшись в кучу, с удивлением смотрели по сторонам, соображая, куда же их привезли. То действительно были черкасы с Полтавщины, направленные по личному указу царя Петра за «дела изменные» на поселение в Тобольск. В вину всем им, включая младенцев, ставилось предательство родственника, попавшего в плен к неприятелю во время вооруженной стычки. Неприателем тем была Швеция, возглавляемая королем Карлом XII, которому русский царь Петр не в самый лучший для него час объявил войну. Прозвание же у ссыльных было единое – Мировичи. И в Тобольск они прибыли не на год, не на два, а на всю жизнь, вплоть до самой смерти.

...Прошло несколько дней, и Катерина с Ириной вновь отправились к реке за водой, выбрав время пораньше, когда по их улочке не так часто проезжали конные повозки. На реке у них была своя прорубь, которую они бережно покрывали ивовыми прутьями и заранее припасенными пучками соломы. Конечно, была и общая прорубь, из которой брали воду все, кому не лень. А случалось, черпали из нее грязной посудой и проезжие, а иные и белье там полоскали, – за всеми не углядишь, караул не поставишь. Но за несколько дней прорубь покрывалась ощутимым слоем льда, и тогда его приходилось продавливать привезенным с собой топориком. Пешни, чем обычно пользовались местные мужики, у них не было, а просить ее у кого-то из соседей было неловко. За любой спрос приходилось держать ответ. А мало ли что попросят взамен у двух солдаток соседские мужики. Оно и понятно – остались без защитников, потому любой может не только словом обидеть; хуже будет, коль молва о них недобрая пойдет, мол, сами навязывались, ходили по домам непонятно зачем. Кто же поверит, будто бы всего лишь пешню для дела просили. Охальников вокруг множество, им только дай посудачить да себя показать, какие они праведные. А вся их праведность на том и держится, что со своими мужиками живут, а, поди, разберись, что меж ними творится, коль самих баб да их старших дочерей послушать, – не приведи Господь. Так что ходить по чужим дворам было меж ними не заведено, и пусть топорик никак не сравнить с той же пешней, зато свой собственный, и ежели умеючи им лед колоть, да еще и по очереди, то и он сгодится.

Едва только солдатки свернули с улицы к реке, как издали еще увидели, что возле бережно выпестованной ими с первых осенних морозов проруби копошатся несколько чужих женщин в цветастых платках. Одна из них, встав на колени, пробовала зачерпнуть воду каким-то невиданным сосудом с двумя ручками. Две других стояли рядом с глиняными крынками

в руках и давали ей советы. Ветки и солома, укрывавшие прорубь от мороза, были сдвинуты в сторону и припорошены снегом. Видно, так они пролежали уже несколько дней, то есть все время, пока у Ирины с Катериной после их последней поездки была в доме привезенная речная вода. Они ускорили шаг и вскоре очутились рядом с захватчиками их неприкосновенной собственности.

Катерина, на правах старшей, зычно гаркнула прямо им в спины:

– Это кто тут без спросу, без разрешения воду нашу мутит? – и уперла обе руки в бока. Это означало, что разговор она приготовила серьезный.

Ирина на всякий случай взяла с санок в руки топорик и по примеру подруги, грозно сведя брови на переносье, добавила от себя:

– Мы прорубку нашу для себя берегли-строили, а тут заявились всякие...

Что еще добавить, она не знала, надеясь на помощь верховодчицы Катерины.

Стоявшие перед ними женщины были одеты чересчур богато для ссыльных. Такие одежды могли себе позволить разве что жены со двора воеводы или еще кто из знатных людей. И тем более нелепо было вырядиться для похода за водой во все лучшее, что несказанно удивляло всех, кто попадался им на пути.

Женщины, которых появление рассерженных не на шутку солдаток застало врасплох, повернулись к ним лицом и стояли молча, не произнося ни слова. Затем поднялась с колен и та, что безуспешно пыталась зачерпнуть воду из проруби. В руках она держала не простую железную или деревянную бадью, а серебряную братину, цена которой была немалая, а для Сибири так и просто невыносимая. Такую ценную вещь даже в голову никому не придет из дома на улицу выносить и чужим людям показывать, не говоря уж о том, чтобы в прорубь ее опускать. А вдруг да обронит ненароком?.. К тому же прорубь, поскольку не была прикрыта сверху соломой, успела уже покрыться слоем льда, и надеяться проломить ее серебряной чашей было просто неразумно.

Все эти мысли мигом пронеслись в головах у подружек, и они слегка сбавили тон, понимая, что женщины эти не со зла, а по незнанию местных обычаев и по острой нужде заявили к их проруби. Катерина, не спеша убрав сжатые в кулаки руки с пояса, спросила как бы невзначай:

– Не жалко вещь ценную в прорубь толкать? Хоть бы веревку какую привязали да держали крепче.

Старшая из приезжих, женщина в собольей шапке на голове и с суровым выражением лица, тут же переспросила:

– Та що ми не так робимо?¹

При этом стоявшие подле нее две другие молодые девки придвинулись к ней поближе, поглядывая на топорик, что продолжала держать Ирина, не совсем понимая, чего эти грозного вида тетяки хотят от них.

Катерина, хоть и не совсем поняла сказанное, но смысл до нее дошел, а потому она решила не обострять ситуацию, а помочь приезжим в их желании набрать воды:

– Да все не так делаете, – махнула она рукой в их сторону, а затем по-хозяйски приказала: – А ну, геть в сторону, счас покажу, как тут обращаться надо.

Она подхватила ворох соломы, стряхнула с него набившийся снег и опустила на лед рядом с ледяным отверстием. Потом молча протянула руку к Ирине, и та, ни слова не говоря, подала ей топорик. Тогда Катерина подогнула полы своего тулупчика, чтобы мягче было коленям, опустила на солому и начала быстро-быстро крошить острым лезвием тонкий ледок, не успевший окрепнуть и превратиться в непреодолимое препятствие, если бы прорубь простояла неприкрытой еще день.

¹ Чего мы не так сделали?

– Ирка, давай ведро, им пробью, – не поворачивая головы, приказала она подруге.

Но та, должно быть, отвлеклась, продолжая разглядывать богатое убранство ссыльных женщин, и не расслышала, что от нее требуют.

– Чего гуторишь? – переспросила она и тут же смутилась, решив, что этак ее могут посчитать за глухую.

– Цбарку подай, – опередила старшая женщина ответ Катерины.

– А? – Та от удивления раскрыла рот, хотя и догадалась, что от нее требуют, и протянула деревянное, слегка обледеневшее на морозе ведро подруге.

– Разумеешь, видать, по-нашенскому? – спросила старшая из женщин, которая, как оказалось, не только понимала, но и хорошо знала русское наречие. – А нас почти все тут не понимают, чего бачим...

– Чего? – вновь переспросила Ирина, широко открыв глаза и заливаясь румянцем. И тогда две приезжие молодухи, стоявшие до сих пор, не проронив ни слова, так и прыснули со смеха.

– Цыть! – сурово глянула на них старшая тетка. – Туточки вам не балаган, чтоб попусту над хорошей дивчиной прыскать в кулак.

Ирина еще более смутилась, а Катерина меж тем уже зачерпнула воду, одним махом выдернула ведро и поставила его на лед.

– Берите, бабоньки, водичку нашенскую, иртышскую, наливайте в свои корчажки.

Одна из девушек тут же кинулась к ведру, зачерпнула из него крынкой, отерла ее своим цветастым платком и прижала к груди, словно дорогую ношу. Так же поступила и вторая ее спутница. Лишь старшая из женщин поставила братину на снег, а затем наклонила ведро, и тонкая светлая струйка побежала на ее серебряное, на глазах помутневшее под слоем воды вогнутое дно.

– Благодарствую, – с достоинством произнесла она, словно ей сделали какое одолжение, за что можно и поблагодарить, но не более того. – Вы уж нас простите, что порушили заделье ваше. У нас на Украине воду с реки только для скотины берут, а так народ для себя ее из колодцев черпает. Мы спрашивали, где в городе колодец есть, но нам или сказать не захотели, или иное что, но так и не узнали ничего.

– Не-е-е... Колодцев в городе точно нет, – ответила Катерина, успевшая подняться с колен. – А к чему они, когда кругом речки бегут да Иртыш неподалеку совсем.

– А как же там, наверху? – спросила старшая женщина, кивнув в сторону крепостных городских построек, находящихся в нагорной части города.

– И там тоже нет, – вставила свое слово Ирина, которой тоже хотелось быть участницей разговора. Обычно же всем верховодила Катерина, чем неизменно вызывала внутренний протест со стороны более молодой и молчаливой приятельницы.

– А что так? – переспросила женщина. – Высоко, или рыть некому?

– Да кто их знает! – хохотнула Катерина. – Нам то неведомо и дела никакого нет. Только я так скажу: если понадобится, то они такой колодец выроют – весь город туда упрятать можно будет. Есть у них на то люди, кто за них всю работу делает. Не то, что нам, горемычным, без мужей оставшимся, все самим делать приходится.

– И где ваши мужья? – задала очередной вопрос старшая женщина.

– Да где же им быть? На войне, – принужденно улыбнулась Катерина.

– Уже все жданики поели, – подхватила Ирина. – Воюют все...

– И с кем воюют? Шведов вроде как разбили, с кем же теперь ваш царь Петр воюет? Вроде и воевать больше не с кем.

– Да мы почему знаем? – горестно вздохнула Катерина, отметив про себя, что женщина назвала царя Петра «ваш царь», и это больно резануло ей слух. – А к нам в Сибирь зачем пожа-

ловали? – решила она перевести разговор в иное русло, чтобы не выглядеть в глазах приезжих обороняющейся стороной. – Поди, не за хорошие дела сюда свезли?

– Мы не хотели сюда ехать, нас... – тонким срывающимся голосом начала отвечать одна из девушек, что первая набрала себе воду.

– Кристя! Тебе кто разрешил при матери рот раскрыть?! – властно прервала ее женщина и потом уже, увидев, как дочь острыми зубками закусила нижнюю губу и потупила глаза, продолжила: – Да, правильно она говорит: не по своей воле мы здесь...

– Ой, держите меня! – на сей раз не выдержала Катерина и хлопнула себя ладонью по бедру. – А тут, в Сибири, почитай остяки да татары по своей воле только живут, а все остальные без особого на то желания. На то она и Сибирь. А вы, как я поняла, знатных кровей будете?

– Ну, если вы так хотите, то не самых плохих кровей. – Старая дама изобразила улыбку на лице и с усмешкой добавила: – У себя дома за водой нам самим ходить не приходилось, на то холопы были...

– И что их с собой не позвали? – тут же с невинным видом поддела ее Катерина. – Поди, и печь как топить не знаете? А хлеб кто за вас стряпает? Так ведь и с голоду помереть недолго. Может, поучить вас, как хлеб пекут? – совсем расхорохорилась она, показывая тем самым, на чьей стороне в этих краях правда.

– Благодарствую, – поджав бескровные губы, сухо ответила женщина. – Хлеба ставить мы умеем. А сейчас просим нас простить. Нужно идти, прощайте...

– Какое хоть ваше прозвание? – уже вслед им крикнула Катерина. Ирина хотела остановить не в меру ретивую подругу, сморщила личико, показывая свое несогласие ее напором, но та не обратила на нее никакого внимания и буровила взглядом уходящих с реки женщин.

Наконец старшая, сделав несколько шагов, решила ответить, приостановилась и, развернувшись, с расстановкой произнесла:

– Жена гетманского полковника достопочтенного Ивана Мировича раба божия Пелагея, урожденная Голуб. А то дочери мои: Кристина и Роксана. Назову и сыновей своих: Семен, Василий, Яков, Иван и Дмитрий. Теперь вы довольны? – После чего она еще некоторое время смотрела на слегка растерявшихся от ее слов солдаток, а потом уверенной поступью стала удаляться от них, словно случайно оказалась здесь проездом и сейчас спешила к своей карете, чтобы ехать дальше, где ее ждут и любят.

– Жалко мне девок, – тихонько проговорила Ирина. – Такие молодые, кожа у них белехонькая, словно сметаной намазанная, незамужние, поди, еще. А вот ведь тоже жить здесь должны...

– Себя пожалей, – зло ответила ей Катерина и так поддела ногой ведро, что оно чуть не расколосось пополам и отлетело в сторону. Вода из него полилась на затвердевший на речном льду снег, образовала небольшую промоину, и вскоре лишь несколько капель застыли на самом его краешке, не решаясь оторваться от желтоватой древесной кромки.

Ирина же вдруг ни с того ни с сего заплакала, и неясно было, то ли она и впрямь начала жалеть саму себя, то ли молодых девушек, непонятно за какие грехи попавших в этот суровый край. А может быть, вспомнила о своих детях, оставшихся на ней одной, или просто накатила на молодуху безысходность, копившаяся несколько последних долгих лет, а теперь, в преддверии весны, давшая себя знать. Катерина не выдержала ее слез, зло плюнула на снег и, неловко ступая в заледеневших на морозе, доставшихся ей от мужа валенках, подошла к подруге, ткнулась ей лицом в плечо и громко выдохнула:

– Не трави душу, Ирка. Будь она проклята и жизнь наша, и мужики, что на войну бежали, и все, кто за нас придумал так жить!

Они еще постояли некоторое время, словно давно не виделись, а потом вдруг неожиданно встретились и не могут сразу расстаться. Ирина очнулась первой и чуть отодвинулась от подруги, подобрала пустое ведро и наклонилась над прорубью, откуда на нее глянула не старая

еще женщина с потухшим взглядом и замерзшим лицом. И самой Ирине показалось, что это не она пришла к стыллой реке за водой, а кто-то иной, кого она видит лишь со стороны, а она, настоящая, сидит сейчас в жарко натопленном доме с младшей дочкой на коленях, а рядом с ней ее мужик, Егор, и от него вкусно пахнет творожными шаньгами и еще чем-то неуловимо родным и потому желанным.

– Не нырни в прорубь-то, – услышала она издали голос Катерины, – а то одна не вытащу, дед водяной от себя не отпустит.

– Рано мне еще к водяному в гости, дел много, – подавая ей ведро, рассмеялась Ирина. – Пушай погодит...

– Да, дел у нас с тобой столько, что и за год не переделаешь, – выливая воду из ведра в кадушку, отвечала Катерина.

И тут с горы ударил большой колокол, но звон его быстро проплыл над ними и, отразившись от кромки леса, вскоре вернулся с противоположного берега реки, с той стороны, где была иная страна, называемая Россией.

По извилистым лесным дорогам, по широким поймам рек из года в год, изо дня в день шли и ехали оттуда к ним в город новые люди, чтобы надолго, а иногда и навсегда, остаться здесь, в Сибири. И все они будут сидеть вечерами у окон своих домов, выходящих на реку, и через нее с тоской смотреть в сторону темного леса, стоящего на другом берегу, словно крепостная стена, через которую никому нет хода в обратную сторону. Пройдет год, два, а потом и вовсе не сосчитать сколько. Да и зачем? Они забудут слово «надежда» и будут просто жить каждодневными заботами и хлопотами, коих в этой таежной стране во сто крат больше, нежели в любом другом уголке земли. И только звонарь с колокольни будет им напоминать о новом наступившем дне...

А для подруг-солдаток, всегда считавших Сибирь родной стороной и живших без затаенного желания когда-то навсегда покинуть ее, звон этот напоминал, что и их жизнь уплывает вслед за ним и завтра уже не вернуть прожитый сегодняшний день. Пройдет еще немного времени, и уйдут даже самые малые радости их жизни, и останется тихая печаль, которую не осушить, не вычерпать, потому как она до краев заполнит собой бездонный колодезь, называемый душой.

И они, словно очнувшись от тягостного зимнего сна, повернулись спиной к вековой тайге. Ирина перекинула санную веревку через плечо, привычно обмотав конец ее на правой ладони, а Катерина подхватила наполненное водой ведро. Слившись в одно целое, они потянули свою кадушку по льду, не задумываясь о своей неуютной жизни, а помня, что коль ты появился на свет, то должен, несмотря ни на что, жить и верить в необходимость этого.

2

...Во времена правления царя Петра, объявившего себя затем императором, тоболяков трудно было чем-то удивить. В сам город и через него непрерывно ехал разный люд в незнакомых ранее местным жителям одеждах, со своей верой в Бога, обычаями и привычками. И горожане вдруг почувствовали себя живущими не в далеком, заброшенном среди лесов и болот городке, а чуть ли не второй столицей, где на площадях читались царские указы, а на Софийской кафедре приезжие митрополиты читали проповеди, а в торговых лавках продавались невиданные ими изделия.

Вместе с этой новизной пришла и иная напасть, коей не знали ранее. На войну со шведами в несколько приемов из города забрали чуть ли не половину мужиков, большинство из которых так и не вернулись обратно, зато по весне на барках привезли вначале небольшую партию плененных в битвах шведов, голодных и оборванных, а следом еще и еще. Их поселили в полуверсте от городского острога, в летнем лагере, а к осени они уже сами выстроили

здоровушие дома, заготовили дрова на зиму и стали изредка, а потом все чаще появляться на городских улочках. По глазам было понятно, что все они живут впроголодь и за тарелку горячей похлебки готовы работать хоть весь день на своего кормильца. Горожане охотно брали их к себе для мелкой работы, до которой у самих руки обычно не доходили. И тот несчастный, взявший в руки вместо палаша или фузеи мотыгу, смотрелся хоть и нелепо, но казался совсем нестрашным и даже мирным человеком. И непонятно было, кто и из-за чего начал с ними долгую войну и во имя чего стояли они друг против друга насмерть, когда вокруг столько земли и урожай с нее обещает быть обильным, хватит всем, кто будет на ней трудиться.

Но ладно шведы, к ним тоболяки пусть не сразу, но попривыкли, и даже многим из них дали свои клички и прозвания. То был чужой им народ, неприятель, сдавшийся на милость русских победителей, в Сибири им и место. Но вместе с ними везли и тех, кто говорил хоть не по-русски, но на вполне понятном языке. Черкасы... Они-то как оказались на стороне неприятеля, когда почти полвека живут в соединении с Россией? Знать, найдены были и у них вины превеликие, за которые их в Сибирь направили.

А вслед за ссыльными с тех окраинных земель потянулись на церковную службу приглашенные степенные, строгие лицом батюшки, со смуглой кожей, чернявыми волосами, почти не понимавшие местного наречия. Но приезжали они сюда не за грехи свои или иные провинности, хотя вряд ли по собственной на то воле. Слали их в Сибирь для укрепления православной веры, поскольку своих попов здесь всегда была большая нехватка, а где-то, видать, они оказались в избытке. И ставили их читать псалмы и тропари в стоявшие полупустыми местные храмы. Они и служили и исповедовали местный люд, вряд ли понимая хоть половину того, в чем им каялся сибирский православный народ. А сибиряки были рады, коль служба и песнопение велись в храмах чинно и торжественно.

И совсем остолбенели тоболяки, когда все той же весенней водой приплыл на разукрашенном цветастыми коврами паруснике с двумя десятками гребцов новый митрополит из Киева. Был он уже немолод, с лицом и фигурой великого постника, с седенькой бородой, добрыми печальными глазами и на гору к главному собору поднялся с трудом, хотя и был поддерживаем двумя келейниками. О нем тут же пошли слухи, будто бы не поладил он с кем-то из царских ближних любимцев, а потому и был направлен на пастырское служение в сибирские края. А потом в народе пошла иная молва, будто бы новый митрополит – не простой монах, облаченный высоким саном, а человек, Богом избранный, и ему открыто многое, чего другим знать не дано. И тому недругу своему, в Сибирь его спровадившему, он сказал слова значимые, что ему, митрополиту, выпала участь ехать далеко от родного дома, в далекий Тобольск, а вот тому придется в скором времени отправиться куда подальше.

Те, кто слышал и запомнил народную молву и пожил еще годков с десять, признали в знатном путнике, через город с семьей проехавшем, низвергнутого с самых верхов вельможу, которому и были те слова сказаны. Ехал он ох как далече, и обратно уже не суждено было ему вернуться. Так людская вера о святости уже почившего в те годы митрополита еще более укрепилась в народе, давая ему понять, что не только страдания нам отпущены от Господа, но если жить с верой, то окупишь многие грехи свои и Господь тебя не оставит ни на этом, ни на том свете.

В те же годы, почти сразу по становлении нового митрополита, православный народ, узнавши о даре, ниспосланном ему свыше, с верой и отчаянием ринулся на ближайшую службу в кафедральный собор, надеясь лицезреть там владыку, а если удастся, то и подойти к нему под благословение. И новый владыка, видя такое радение к нему простого люда сибирского, пролил радостную слезу и возрадовался вместе со всеми, осенив упавшее на колени братство чудодейственным знамением, отчего многие вслед за ним зарыдали в исступлении и обещали вести жизнь непорочную и праведную.

Только прошел малый срок, и забыл народ в делах неотложных и о клятвах своих, и о чудесах, коих ждали тотчас, а ждать их долго уже надоело. Тем более не до молитв стало, поскольку получили тоболяки новую весть о прибытии в город другого ближнего к царю человека. Сказывали, командовал он там, в России, на Москве, важными делами при молодом царе, а теперь вот непонятно зачем ехал на царскую службу и долгое житье в Тобольск. И будет он тут служить не так, как прежние воеводы служили, особо без нужды народ сибирский не трогая. Этот же как начнет в Сибири царскими делами заправлять, то непременно переиначит жизнь старую, всем привычную, на новый лад, а что с того выйдет, то никому неизвестно. Но все одно, лучше старого не станет, поскольку сроду такого на белом свете не бывало. А потому пришел народ в великое сумление, и в ожидании великих перемен каждый высказывал свою мысль, как он те перемены видит и понимает.

«Не иначе, как еще одна война затевается», – судачили меж собой мужики, сойдясь на пристани, куда и должен был приплыть новый начальник.

«С кем же воевать будем теперича?» – спрашивали те, что помоложе, у более опытных и за жизнь свою всякого повидавших.

«Чай, не с остяками, – с усмешкой отвечали им бывалые мужики, – недругов кругом не приведи Господь столько, только выбирай, с кем наперед силу свою спробовать...»

«С калмыками, поди?» – высказывали предположение молодые.

«С ними чего воевать, они народ хоть и злой и не нашей веры, но против нас не пойдут. Поди, не знаешь, что каждую осень в тамошнюю сторону с десятков, а то и поболее подвод с мукой везут?»

«Продавать, что ли?»

«Оно ладно бы, коль за деньги, а то запросто так. Мне Федор, сосед мой, сказывал: привезут к ним нашу мучицу, в кулях и рогожах запакованную, в какое надо кочевье, старшего спросят, да и свалят прямехонько в кибитку, какую им укажут, а потом сразу и обратно...»

«И денег не ждуть?» – не поверил молодой парень.

«То-то и оно, что запросто так».

«Может, мука порченая или иное что?» – не унимался молодой.

«В муке они не хуже нашего понимают, а везут ее к ним для верности, что те озоровать не будут, не нападут на русские села. Ну, вроде как калым, по-ихнему говоря. Так что пока они прикормленные, то словно ручной медведь на привязи. С чего им на нас нападать? И дальше смирнехонько жить станут».

«И с кем же война тогда начнется?»

«Я так понимаю, пойдем мы через ближние земли в другие страны, где в горах золото добывают. И к бабке ходить не надо, истину говорю... Открылся мне бухарец один: есть такие места, где золото можно прямо руками в мешок насыпать. Главное, чтоб сил хватило с собой его унести...»

«Неужто такое может быть, и никто о том не проведал пока?» – не поверил словам бывалого мужика молодой парень.

«На свете и не такое еще встретить можно», – степенно ответил рассказчик, но на этом смолк, поскольку лишнего говорить не привык, а за каждое свое вслух сказанное слово отвечал, и потому все знавшие его люди верили, что не соврет для красного словца.

К середине лета под пушечную пальбу прибыл и другой ближний к царю человек, но не показался народу супротив прежних знакомых им воевод сказочным богатырем, какие и должны жить близ государя. Росточку он был небольшого, хоть и обвесил себя всего драгоценными камнями, сверкавшими, словно пасхальное яичко, раскрашенное сусальными красками. На собравшихся горожан он ни разу не взглянул, а сразу вскочил в стоявшую на берегу карету и отбыл в свои верхние покои, и больше его почти никто и не видел.

Народ немного успокоился, что никого не стали верстать в солдаты, значит, с войной еще чуть погодят, а может, и совсем забудут о ней, окаянной, и все решится миром. Хотя и в это мало кто верил, привыкнув за последние годы к частым сшибкам то с одним, то с другим народом. По зиме опять приехал из Москвы новый человек в больших чинах и стали набирать плотников ладить новые суда, на которых, как все решили, поплывут по Иртышу воевать с кем-то неведомым в дальних краях.

Так и вышло: в середине лета несколько тысяч человек по воде и по берегу отправились вверх по реке, и вестей от них долго не было. А потом уехал обратно в столицу ближний к царю человек, так и не показав, на что он способен. Никаких перемен особых не случилось, чему все были чрезвычайно рады, и ждали, что пройдет год-другой, и заживут по-старому, в тишине и благодати, закончатся войны, не будут слать в город иноплеменников, и укрепится старая вера. А те, кто попал в город не по своей воле, наоборот, ждали перемен, чтобы новая власть вспомнила о них, сирых и убогих, сосланных за малые грехи, и простила, разрешила вернуться в родные края.

3

Среди таких вот несчастных были и Мировичи, никак не могшие свыкнуться со своей участью и теми неправдами, что на них возвели. Одно выручало: было их вместе с детьми и ближней родней, согласившейся уехать из родных мест, чуть ли не полсотни человек, и для каждого нашлось свое заделье и хоть малые отрадные минуты жизни на чужбине. Тем и крепились, делясь радостями и печалью, сторонясь до поры до времени местного люда, держа себя в строгости. Весь их род и свойственники, привыкшие на своей земле смотреть на всех прочих если не с надменностью, то по-особенному, с гордецей, и здесь, в Сибири, выходя из дома по каким делам или на церковную службу, высоко держали голову и шагали уверенно, словно не стали равными всем, испытавшим ту же участь по причине немилости российского государя.

Со временем старшие их сыновья соорудили при главном жилище своем, где разместились их мать Пелагея Захаровна, домашнюю часовню и приглашали в урочное время батюшку из прихода, за которым числились, чтобы подальше от общей суеты посылать к Господу свои молитвы об избавлении от невидимых оков и горько плакать о своей незавидной доле.

Так они прожили без всяких послаблений до самой смерти царя Петра. Но и после смерти его не дождалась они прощения от жены его, заступившей на место мужа на престол Всероссийский. А потом наступили и совсем смутные времена, и окончательно пропала у них надежда на избавление и прощение своих грехов, тем более что осознать и до конца понять вину свою при всем на то желании они так и не могли. Почитай, вся их родная окраинная земля была виновна в том, что жила прежде по своим законам и не ведала о своей в том неправде. Наконец, они почти свыклись со своей участью и положением, выдали замуж молодых девок, женили двоих холостых братьев и жили, как все, кто не вправе менять свой уклад и жизненное устройство, ни в чем от них независимое.

Стоит ли говорить, что каждую весну, когда сходил снег с застуженной за зиму земли, вспоминались им цветущие на родине об эту пору полевые цветы, выкидывающие почки вишни, яблони и груши, каких в сибирских краях никогда и в помине не было. Где-то на тех теплых и благодатных землях жили они с мужем Пелагеи Захаровны, отцом ее детей, попавшим в плен к невесте откуда пришедшим под стены обороняемой им крепости шведам. Раненого полковника Ивана Мировича шведское воинство, согласно военным законам, увезло с собой без его на то желания. И держали у себя в Швеции, надеясь, что доблестный атаман признает их власть над частично завоеванной ими Малороссией и будет служить шведскому королю, как до этого служил российскому. На розыски отца отправился старший его сын Федор Мирович, который тоже не вернулся обратно. И не ясно было, то ли он нашел отца на чужбине и

остался при нем, то ли сгинул в чужих краях, но весточки от него остальное семейство так и не получило.

Когда о том стало известно царю Петру, быстрому на расправу и опалу, то он приказал всех ближайших сродников полковника Миновича перевезти в Москву и поселить под особым присмотром. Но не таковы были Миновичи, чтобы подчиниться чужой воле и покорно терпеть плен, пусть даже от законного русского царя. Один из сыновей попытался бежать и пробиться вслед за старшим братом к отцу, но был пойман на границе, закован в кандалы и возвращен обратно. Ждали худшего: суда, смертного приговора и казни. Но судьба ли подмогнула безвинным страдальцам, иное ли что, только узнали они от своих же охранников, будто бы у царя Петра его родной и единственный сын от гнева и ужасов отца своего поспешил укрыться за границей. Поэтому государь все иные дела оставил без внимания и думает лишь, как сына своего обратно заполучить. Через какое-то время всех Миновичей без объявления причины посадили кого на сани, кого в крытые повозки и повезли в Сибирь. Не знали, радоваться тому или горькие слезы лить, но только когда приехали в Тобольск, поняли, где оказались.

...Первые дни ждали, что дальше повезут, на самый край земли, где обычному человеку жить немислимо и где ждет каждого неминуемая смерть и забвение. На каждый стук в дверь вскакивали, кидались вещи упаковывать, одевались в дорогу. Постепенно пообвыкли, стали думать, как и чем пропитание себе искать, кого куда определить.

Старший из сыновей, Семен, по отцу Иванович, с самых молодых лет, еще когда жили в родных краях, не пошел по крутой и опасной воинской тропе, о чем мечтал его отец, а поступил в Киево-Могилянский коллегиум. Проучившись там положенный срок, был приглашен на важную должность вице-префекта при католической конгрегации. Там он успел завязать пусть не дружбу, но знакомство с теми, кто мечтал видеть Малороссию единой страной без назойливого надзора со стороны России-матушки, а тем более все еще дающей о себе знать Речи Посполитой, не утратившей желанья навести свои порядки на некогда подвластных ей землях. Но появление шведов спутало не только их планы, но и поставило перед выбором: за кого возносить молитвы и чье владычество признать менее опасным для себя. Так или иначе, планам его не суждено было осуществиться даже в малой их толике, и, оказавшись в Тобольске, он какое-то время вместе со всеми выжидал, пока семейные страсти улягутся, а потом отправился в епархиальную консисторию, где после короткой беседы ему предложили место писаря. Пусть невелика должность, но все при деле, и хоть каком, но жалованье.

Младший его брат Василий, имевший характер неровный, загоравшийся, как сухая лучина, по разным пустякам и малостям, узнав, что Семен пошел в услужение к русскому епископу, чуть не кинулся на него в драку, как это бывало не раз. Но мать грозно прикрикнула на него, а потом, когда он чуть остыл, пояснила, как важно, чтобы кто-то из них имел хоть какой постоянный доход от службы, и неважно, от кого они будут получать те деньги: от турецкого султана или от русского царя.

Семен же, через несколько дней своей службы вернувшийся домой, с нескрываемой радостью сообщил, что сибирский владыка, при котором он теперь числился, тоже закончил «могилянку», как было принято называть открывшийся при Киевской лавре духовный коллегиум, и у них наверняка сыщутся общие знакомые. Появилась надежда, что и здесь, на чужбине, они обрели родственника, пусть не по крови, но зато по вере и духу.

Тогда и другой сын из числа Миновичей, еще не женатый Яков, сыскал себе место помощника пристава при здешней соляной конторе. Пелагея Захаровна могла вздохнуть, что самые тяжкие дни миновали и они смогут жить пусть не так, как раньше, не очень сытно, но не придется продавать последние привезенные с собой вещи. Обустроившись на службе, он взял себе в жены дочь такого же ссыльного, обосновавшегося в Тобольске незадолго до их приезда. Тесть его, как он сам рассказывал, служил в стрелецком полку, когда случился известный бунт и смута между будущим царем Петром и его сестрой Софьей. Ему повезло, что не лишили

головы, а всего лишь высекли кнутом на площади и отправили в Сибирь. Здесь его приняли в казачью сотню, которая чуть ли не вся состояла из неужившихся с властями молодцов. Очувтившись на воле, подальше от властей, они жили своими заботами, так и не простив власти обиды за свои унижения, и случись какая заваруха, трудно сказать, на чью бы сторону они на сей раз пристали.

Но Якова особо не интересовала жившая в тесте обида на власть, поскольку хватало и своей. И обида эта давала о себе знать если не каждый божий день, то в ночную пору, зимой, когда за окном завывали многоголосые северные ветра. Он вспоминал тихие полтавские вечера, скрип мельничных колес, куда они с братьями любили забираться, сбежав от зоркого материнского глаза, и становилось невыносимо тоскливо от собственной бесправности и беспомощности.

Не отстал от старших и другой брат, Иван, и записался в рейтарский полк, а весной вместе с остальной воинской командой был он направлен на службу в отдаленный пограничный пикет где-то в степной части необъятной сибирской земли. Через пару лет вернулся обратно в Тобольск, получил повышение по службе, а потом и вовсе перебрался служить куда-то на Урал.

Мать, хорошо знавшая о его желании всеми правдами и неправдами вернуться на родину, больше всех переживала именно за него, Ивана, пошедшего нравом в отца по части неуступчивости и скрытности. И, как оказалось, не зря. Через несколько лет к ним в дом заявились несколько вооруженных людей и, ни слова не говоря, начали рыться в вещах, осмотрели все их пожитки и забрали, ничего не объяснив, все обнаруженные в доме бумаги. Через несколько дней Семен случайно узнал, что брат его Иван сбежал с Урала в Крым к татарам, где его опознал кто-то из русских купцов, и, вернувшись в Россию, тут же донес об этом.

После этого Пелагея Захаровна окончательно потеряла надежду на скорое освобождение и как-то сникла не только внешне. Она стала реже приглашать в домовую церковку приходского батюшку, хотя тот всегда с охотой посещал их, поскольку это входило не только в его духовные обязанности, но, согласно последним царским респектам, он должен был напрямую сообщать обо всем виденном и слышанном в ссыльном семействе своему начальству.

Меньше всего опасений в первые годы вызывал у хозяйки дома младший сын Дмитрий, Димуля, как она любовно звала его, поскольку был привезен в Тобольск совсем в юном возрасте и при всем желании сбежать куда-то не мог, разве что со двора на соседнюю улицу, где его вскоре и находили посланные на розыски сестры.

Особо переживала Пелагея Захаровна за скудное их питание и дурной сибирский климат, от частой перемены которого у нее самой постоянно болела голова, время от времени перед глазами плыли радужные круги, а нехватка солнца сказывалась еще и на общем настрое. Унылость эта слегка развеялась, когда у дочерей, а потом и у сына Якова стали появляться на свет дети. Внуки росли всем на удивление крепкими, и хотя болели не меньше других, но, видать, пошли в крепкий дедовский корень и были такие же неумные, шустрые и озорные, как когда-то ее собственные детки. Забот у Пелагеи Захаровны прибавилось вдвое, а то и второе, поскольку все домашние ссоры и неурядицы она привыкла решать единолично и вершила скорый суд, не спрашивая мнения своих женатых великовозрастных сыновей.

Больше всех доставалось от нее зятям, как она их называла, «мужикам худародным», один из которых был сыном местного дьячка, а другой – мелкого купчишки, которые всегда испытывали робость и смущение, едва только грозная Пелагея Захаровна заявлялась к ним в дом с небольшими подарками и неизменными нравоучениями. И хоть называли они ее «мамочкой», но как только обычный разговор переходил в жаркий спор, «мамочка», не выбирая выражений, начинала костерить зятьев самыми последними словами. Они, не зная, как ей противостоять, почтительно обращались к ней по отчеству, отчего она умиряла свой гнев, а потом, махнувши рукой и чертыхнувшись на прощание, величественно уплывала домой.

...Шло время, и подрастали внучата в многочисленном семействе Мировичей, доставляя радость своей бабушке Пелагее, которую годы как будто не тронули, и она оставалась все такой же властной и расторопной. Она успевала следить не только за переменами среди своих родителей, но и за тем, что творится в столице, где на престол всходил то один, то другой наследник рода Романовых. После смерти не успевшего водрузить на голову царскую корону Петра II для управления страной приглашена была Анна Иоанновна, царствовавшая долгих десять лет и не освободившая за этот срок ни одного сибирского ссыльного, а лишь умножившая их число. Об этом неизменно ставили в известность свою домоправительницу бабушку Пелагею ее сыновья и зятья, поскольку еще ни одному несчастному, как их повсеместно именовали в Сибири, не удалось проехать мимо Тобольска. Наконец пришло сообщение, что и эту императрицу проводили в дальний путь, и объявлено было имя нового правителя русского государства: Иоанн Антонович.

– Это кто ж таков будет? – строго спросила Пелагея Захаровна старшего сына. – Чей он будет? Что-то ране не слыхивала о таком...

Тот принялся объяснять, кто он, новый император, которому едва минуло два месяца, и почему он на трон посажен, хотя по всем приметам еще и в кроватке сидеть не может.

Пелагея Захаровна внимательно выслушала его объяснения, а потом со значением произнесла:

– Видать, у них там, наверху, совсем никого сыскать нельзя, чтоб страной, как в старые добрые времена управлял толком да ладом, вот и додумались младенца на трон возвести... Господи, когда только наши муки кончатся... Уж сколько ни молю Господа, а все не простятся нам вины наши. У кого ж нам защиты искать, не у ребенка же неразумного?

С этими словами она и ушла на свою половину и уже больше ни у кого не спрашивала, что там, в Петербурге, происходит, потеряв всякую надежду на скорое возвращение в родные края.

Меж тем в тот же год у сына ее Якова накануне дня Василия Великого родился долгожданный сынок, воспринявший имя прославленного подвижника православной веры. Бабка Пелагея, с умилением целуя его в кровотокающий пупок, заявила, мол, коль родился в столь великий день мальчик, то это не иначе как знак Божий, а потому быть ему иноком-молитвенником, и тогда все грехи их рода будут у Господа отмолены. Родители же младенца, хорошо зная, что спорить с ней не только неразумно, но порой и опасно, не перечили ей, сочтя за лучшее промолчать.

Зато сам Василий словно понял смысл бабкиных слов, громко заплакал и тут же испустил вверх немалую струйку прямо в лицо сразу переставшей умиляться им бабке. То был первый самостоятельный ответ Василия Мировича на пророчества старших о его дальнейшей судьбе. Пелагея Захаровна навсегда запомнила этот фонтан на ее ласки и не раз напоминала о том внуку, когда он вошел в сознательный возраст, на что он обычно отвечал: «Так я тогда еще слов человеческих не знал». Надо ли говорить, что отношения бабки с внуком складывались трудно, потому как оба были одной, как говорила сама Пелагея Захаровна, «непоборимой» породы, и найти согласие меж собой им было зачастую весьма трудно. Но это не мешало Васеньке быть любимцем у своей бабушки, получая при этом от нее обидные прозвища и даже подзатыльники.

А еще сохранилось в роду Мировичей предание о словах, что сказала при его рождении старая знахарка, приглашенная в дом накануне знаменательного события. Она первым делом осмотрела и ощупала роженицу и заявила, что роды будут трудными, поскольку младенец с дурным норовом и лег не как положено, а поперек проходу. А когда начала выправлять плод, то удивленно заявила, что он брыкается и не хочет выходить так, как то все добрые люди делают. Потом она все же совладала с малосильным младенцем и повернула его маленькое тельце куда надо, что стоило ей превеликих трудов и усилий.

После его успешного появления на свет, она, обмыв его и внимательно оглядев, вдруг зашептала то ли молитву, то ли свой знахарский наговор и по каким-то только ей известным приметам неожиданно заявила: «Чудная судьба ждет отрока энтова. Не иначе как станет генералом, коль раньше времени голову на плаху не положит...» А потом, вспомнив свою борьбу с ним, добавила: «Ни разочка не попадался мне такой упрямец непоборимый. Знать бы, в кого пошел». Отец Василия знал, в кого, но знахарке объяснять всего не стал и, расплатившись с ней, поблагодарил и проводил до порога.

И, правда, упрямство мальчика и «непоборимость» ощутили родители его с первых дней, когда он мог закатиться надолго, требуя материнской груди, и кричать до тех пор, пока не добивался своего. По правде сказать, не было в том чего-то необычного; это присуще многим крепким детям, желающим получить материнское молочко и орущим при этом на всю округу. Едва научившись ползать, он обязательно добирался до края того места, куда был положен. А уж когда выучился ходить, то и вовсе – не останови его, ушел бы непонятно куда. Причем не считался ни с синяками, ни с ссадинами, зарабатываемыми во время непрерывных и многочисленных падений. Потому бабка Пелагея, наблюдавшая за стараниями подрастающего внука, только головой качала и повторяла: «Ой, мировская порода! Такого ничем не остановишь, везде пролезет. И управы на него не найти, все по-своему сделает, словно страху Господь ему дажесь самую малость не вложил...» При этом она не оставляла мысли сделать из него великого молитвенника, стараниями которого Бог поможет им рано или поздно выбраться из Сибири и вернуться в родные имения на Полтавщину.

Вслед за Василием родились в их семье две сестры, но во время очередных родов мать их не вынесла испытания и умерла в тяжких муках, когда мальчику шел всего лишь пятый год. Яков Мирович долго переживал утрату, но замену жене искать не стал, оставив пятилетнего Васю подле себя, а девочек взяли в свои семьи его сердобольные сестры.

Но и этого показалось мало судьбе, подвергавшей род Мировичей все новым и новым испытаниям. Посреди зимы Якова Мировича направили в поездку на дальние степные озера, откуда в город шли обозы с солью. В дороге он изрядно простыл и вернулся через месяц домой, тяжело кашляя и поминутно хватаясь за грудь. Недуг недолго мучил его, и однажды днем после полудня он тяжело застонал, и из горла вылилась алая струйка крови. Василию о том рассказала уже после похорон отца сестра, находившаяся при нем во время болезни. Больной сам отказался от исповеди у местного батюшки, поскольку, как говорила та же сестра, «грехов особых за собой не чуял». Успел только передать, чтобы сына забрала к себе Пелагея Захаровна. Тот не так удивился смерти отца, как уходу матери. Но душа его окончательно зачерствела, а тонкие черты лица заострились, и он стал похож на одинокого волчонка, окруженного сворой собак.

Возможно, тогда уже в нем стал пробиваться наружу слабый росточек сознания, ощутившего несправедливости жизни и судьбы, выпавшей ему, во многом отличной от остальных, неласковой и порой жестокой. Когда они с бабкой Пелагеей приходили к могиле отца, то он мысленно спрашивал у него: «Батюшка родный, ответь мне, за что нам все это уготовлено и будет ли конец тому?» Не получив ответа, носил тот вопрос в себе, надеясь, что когда-нибудь сам поймет, догадается, почему и за что его судьба так не схожа с прочими.

4

Летом Василий достиг семи лет, и бабка Пелагея, не оставившая надежды воспитать внука как великого молитвенника, отвела его в местную семинарию, где занятие вели их земляки, прибывшие в Тобольск из Киева. С самого начала Василия поразили мрачные и сырые монастырские покои, где находились полутемные семинарские классы. Столы стояли вдоль стен, а возле них на лавках сидели ученики, обращенные спинами к своему учителю. Тот, в застиранной рясе, с пятнами грязи на подоле, словно карающий ангел, ходил позади них с

длинной хворостиной в руках. Едва только кто-то из читающих по складам нескончаемый псалом или притчу делал ошибку, слышался свист рассекающего воздух прута и короткий шлепок, а затем вскрик пострадавшего. Учеников было не больше дюжины, и пока длился урок, их наставник успевал на каждого по нескольку раз опустить свое орудие, кому по спине, а иным и по шаловливым рукам. Потом, собравшись в общей келье, перед сном, они хвастались друг перед другом, стянув рубахи, кому досталось больше ударов, у кого от них сочтется кровь, а кому хлыст лишь оставил легкий след.

Получив первый, слабо ощутимый удар, Василий вскочил со скамьи и чуть не кинулся на учителя, чем вызвал немалое удивление остальных подростков, многие из которых превосходили его годами. Учитель же Николай, увидев признаки непослушания, пригрозил, что в следующий раз отправит строптивца в темный подвал и оставит там на всю ночь.

– Ишь ты, какой шустрый! Прямо суржик какой, не иначе, – усмехнувшись, сказал тот, назидательно грозя Василию пальцем.

Это случайно оброненное отцом Николаем словечко приклеилось к Василию, и сверстники тут же прозвали его Суржилом, не зная, что оно значит. Понимая, что избавиться от своей клички ему просто так не удастся, он первое время пробовал не откликаться на нее, а потом и вовсе перестал обращать внимание, тем более что почти у каждого бурсака было свое прозвище.

В отношениях с отцом Николаем он тоже старался никак не реагировать на его придирки и замечания и попросту затаился в своем собственном мальчишеском мире, пытался стойко сносить ежедневную порцию ударов гибкой хворостины и старался всем показать, будто бы ему совсем не больно. При этом для самого себя он так и оставался «непоборимым» потомком своего славного рода и не собирался сдаваться на милость любого, даже самого могучего противника, возмнившего себя победителем, а уж батюшка Николай в победители его, Мировича, никак не годился.

Оставшись одни, мальчишки и Василий вместе с ними, как могли, передразнивали своего наставника, повторяя с гримасами на лицах его наставления: «Не балуй!», «Читай правильно!», «Не коверкай слово Божие!»... Большинство подростков были сыновьями приходских батюшек, которых силой свезли со всей округи, чтобы заполнить пустующие классы совсем недавно открытой первой сибирской семинарии. Не только сами поповичи, но и отцы их не могли уразуметь, зачем их заставляют учить проклятую латынь. Каждый из них художественно знал с десятков молитв, выученных еще в отцовском доме. А тут на тебе, латынь! Даже вне занятий запрещалось им говорить меж собой по-русски. За каждое русское слово полагались розги.

– Пишем на слух слова на латыни, – диктовал громко отец Николай: *Sapiens, entis, liber, libera, liberum, tener, tenera, tenerum...*² – Потом делал паузу и безапелляционно заявлял: – Но к вам только что записанные качества не относятся, а вот это про вас: *miser, misera, miserum, asper, aspera, asperum, piger, pigra, pigrum...*³

Бурсаки покорно записывали продиктованные слова, совершенно не понимая их смысла, что было ясно по отсутствующему выражению на их лицах. Отец Николай, видевший это, тут же обращался одному из них:

– Повторяй, отрок неразумный: *Ego sum asinus stultus!*⁴

– Это сум асинус стултус... – покорно повторял тот.

– А теперь переведи, что это значит, – требовал учитель.

– Я... – робко начинал тот, – я есть...

² Склонение прилагательных в латинском языке: мудрый, свободный, нежный.

³ Ленивый, бедный, жалкий, грубый, ленивый (*лат.*).

⁴ Я глупый осел.

– Так, кто же ты есть?

– Асинус стултус, – тянул тот, не решаясь сказать это по-русски.

– А кто есть асинус стултус?! – нажимал на него отец Николай. – Говори, говори, мы никому о том не скажем.

– Не буду, – замыкался вконец затурканный напором грозного батюшки семинарист.

– Не хочешь говорить? Так я тебе подскажу: глупый осел. Вот кто ты есть. А за то, что не хотел сказать, вот тебе пять ударов по рукам.

Бурсак покорно вытягивал перед собой по-мальчишески тонкие пальцы и получал десять ударов, привычно дул на пальцы, засовывал их под мышки и садился на место.

И некому было пожаловаться на причуды их преподавателей, что при каждом удобном случае подчеркивали тупость и невежество своих воспитанников, надеясь хоть таким путем вбить в их юные головы необходимый объем знаний. Но если с письмом и счетом еще куда ни шло, то латинские спряжения и обороты никак не давались юным поповичам и не желали занимать свое место в их чистой, как озерная гладь, памяти. Поэтому они старались платить своим учителям-обидчикам той же монетой и, затаившись в полутемных коридорах, шептали тихонько им вслед:

«Латинянин проклятый! Чтоб тебя разорвало на Страшном суде! Будь ты трижды неладен!»

Изредка приезжал чей-нибудь сердобольный отец, вызванный владыкой по какому-то делу, и заглядывал вечером в семинарию, вызвав сына своего за ворота. Там он совал ему в руки, с отметинами от прута, лукошко с провизией и интересовался, как идет обучение, скоро ли отпустят домой. Сынок его горестно всхлипывал, стесняясь рассказать о всех терпимых им притеснениях, и просил забрать его из ненавистой бурсы, считая отца самым сильным человеком на земле. Но тот в ответ лишь вздыхал и советовал:

«Ты уж потерпи, милый, коль то для учебы нужно. Терпение – оно горы воротит, а как лето придет, обязательно приеду за тобой».

С тем и прощались, каждый утирал слезы: один – от своего бесправия, а другой – от бессилия изменить порядки, заведенные свыше.

Потом отец тот, когда ему случалось встретиться с таким же, облаченным в священство соседом, в самых мрачных красках передавал, чему учат их сыновей:

– Слышь-ка, оне там по-русски понимать скоро совсем разучатся. Ну, скажи ты мне, Христа ради, зачем они эту латынь в башку малолетнюю вбивают? Разве она в священнослужении нашем нужна? Разве «Отче наш» по-латински читать нужно? Ежели дальше так пойдет, этак скоро нас всех заставят и за папу римского молитву творить!

– Все к тому идет, – согласно откликнулся его собрат, с опаской оглядываясь вокруг, как бы кто не услышал и не донес. – Мой Федор третий год в этой самой семинарии спину гнет, а в башке у него ничуть не прибавилось. Он не говорит, скрывает, а порют там каждый божий день, да еще и еды лишают. Где это видано? Нас вот совсем не тому и не так учили...

– Жалобу писать надо государыне на владыку нашего, латинством испорченного. Какой умник решил его к нам поставить?

– Да я слышал, будто и в Перми, и в Казани то же самое творится, одни латиняне кругом возобладали, а матушка-императрица и слова против них сказать не смеет...

Шел седьмой год правления императрицы Елизаветы Петровны. Она действительно не знала, что делать с наводнившими всю Россию, еще со времен ее отца Петра I, епископами из Малороссии, прозываемыми черкасами. Не было ни одной епархии, где на кафедре находился бы владыка великоросс родом из Новгорода или Рязани. Лишь чуждые русскому уху фамилии иерархов можно было встретить от границы на западе до окраины на востоке. А императрица, сердцем понимавшая, что нужно как-то менять, исправлять положение, не знала, с какой стороны ко всему этому подступиться. А потом и вовсе махнула рукой, решив, что боль-

шой беды не будет, коль киевские выпускники поруководят русскими епархиями. Авось, толк какой будет. А что строгости в их правлении чрезмерные, то опять же польза для русских дремучих батюшек, которые дальше своего прихода ни разу в жизни носа не казали, пушай свои нечесаные бороды к небу почаще вздымают, авось хоть от этого умишка у них прибудет.

Батюшки, памятуя о заповедях господних, терпеливо сносили латинские строгости, перучивались новому пению, но по осени деток своих прятали от приезжих черкасских наборщиков в семинарию. Не всем это удавалось, поскольку владыка завел новый обычай: переписывать по рождению всех поповских чад мужского пола, а через нужное число лет изымать их из-под отцовского крова. Приходилось брать великий грех на душу и показывать верстальщикам ложные списки о смерти чад своих. Парнишек же заблаговременно отправляли к дальней родне или в другую деревню, где они и пережидали осенний набор в ненавистную семинарию. А уж тех, кого не смогли укрыть, приходилось отдавать на учебу. Провожали их, словно на войну, оплакивали всей родней вместе с соседями, а после отъезда непрестанно молились за них, чтобы не повредились на чужой стороне ни умом, ни здоровьем. Кто считал, сколько их умерло от разных болезней за монастырскими стенами, живя впроголодь и в непрестанной учебе? Хоронили тут же, в монастыре, где помещалась семинария, и небольшие крестики чуть в стороне от преставившихся по возрасту схороненных монахов служили воспитанникам напоминанием, что их ждет, если они как можно быстрее не вырвутся на волю, пройдя все необходимые круги обучения и страданий.

И Василий Мирович, проучившись в семинарии пару лет, научился терпеть и сносить обиды, понимая, что некому за него тут заступиться, замолвить словечко. Он и не ожидал, что судьба хоть чем-то порадует его, и замкнулся, насколько это можно, в себе. И без особых эмоций встретил известие, что всех членов семейства Мировичей великодушная императрица Елизавета Петровна простила и разрешила им вернуться на родину.

5

Случилось то в середине лета, когда всех семинаристов на короткий срок отпустили по домам. Ему же идти было некуда, а потому он неспешно побрел в дом к бабке Пелагее. Та изрядно сдала в последнюю зиму и редко выходила из своей спальни, где подолгу молилась перед старинными, привезенными с собой иконами. Когда Василий вошел к ней, она, не прерывая молитвы, указала ему на место рядом с собой. Он покорно опустил на колени и со вздохом присоединился к молитве, а сам в это время думал, когда же позовут обедать, поскольку по дому плыл соблазнительный запах свежеприготовленного борща. Но Пелагея Захаровна еще долго читала молитвы, прося здоровья каждому из сыновей, дочкам, зятям, а потом и своим многочисленным внукам. Василий терпеливо ждал, думал, чем займется в эти недолгие каникулярные недели, и решил, что обязательно станет ходить каждый день на реку купаться, а может быть, ему удастся с кем-то съездить в деревню и там покататься верхом.

Когда Пелагея Захаровна со стоном, держась за спину, поднялась с колен, он кинулся помочь ей, за что был удостоен ласкового поглаживания по голове.

– Подрос-то как за зиму, скоро совсем большой станешь, – отметила бабка. – Жалко, отец твой до этих дней не дожил...

Она никогда не вспоминала о матери Василия, словно отец родил его сам, без всякого женского участия. Младших его сестер по смерти Якова Ивановича спровадили в монастырь, но Василий ни разу их не посетил, поскольку находился в другом городе и добраться к ним ему было пока что не по силам.

– Ну, поди, ничего еще не знаешь? – озадачила она его своим вопросом.

– А чего я не знаю? – спокойно спросил Василий, беззаботно поглядывая в открытое окно, с края которого паук по-хозяйски натянул легкую паутинку, предвещая этим солнечную погоду.

– Да вот, дочка этого безбожного... – И тут бабка Пелагея сказанула такое словечко, что щеки Василия мигом залились румянцем. Он и раньше слышал от нее крепкие выражения, но по молодости лет она берегла его детские уши и старалась при нем не выражаться особо крепко. А вот теперь, посчитав его достаточно взрослым, уже не стесняясь, костерила царя Петра, по чьему распоряжению она с детьми и оказалась в Тобольске.

– ... да какой он император? – продолжала она перемывать косточки своему главному недругу. – Антихрист он, а не император! Котища усатый! Сатана проклятуший! – Она тут же не преминула осенить себя крестным знаменем и еще несколько минут посылала самые что ни на есть гадкие и богохульные выражения в его адрес. Это с ней случалось каждый раз, как только она в своих речах касалась имени российского императора Петра. Если раньше в таких случаях малолетнего Василия кто-нибудь быстренько спроваживал в соседнюю комнату, то теперь он имел возможность выслушать подобную тираду без купюр и в полном объеме.

Наконец, успокоившись, Пелагея Захаровна закончила:

– В общем, Лизка, девка блудная, вспомнила о нас и подписала указ о полной нашей свободе. Но вот только, б...дь этакая, про имения нашенькие даже не заикнулась, будто у нас их сроду и не было. Но я все одно добьюсь от нее их полного возврата. Болтают, будто бы при ней обретается Алешка Розум, сделавшись ее полюбовником. А я не побоюсь ему напомнить, кем он раньше был и чьих коней пас, будучи парубком...

Потом она сообщила все в тех же, не всегда приличных выражениях, будто бы в Тобольск приезжал важный офицер, говоривший с местным начальством, от которого Пелагея Захаровна и узнала о готовящихся переменах. Отпустили на родину уже несколько других семейств, сосланных в Сибирь при усатом антихристе. В их числе оказался отец покойной матери Василия и все их родичи. Но они, видимо, побаиваясь острого язычка бабки Пелагеи, и раньше были нечастыми гостями в ее доме, а сейчас даже попрощаться не соизволили зайти...

В это время позвали к столу, и бабка Пелагея угомонилась. Обед прошел почти в полном молчании. Потом она подозвала Василия к себе и спросила:

– Поди, тебе тоже поскорее уехать отсюда хочется?

– Ага! – радостно вымолвил он, представив, как покажет семинарии большой кукиш на каждой руке и скажет чего-нибудь пакостное на прощание.

Однако Пелагея Захаровна горестно покачала головой и сказала:

– Нет, Васенька, милый ты мой... Пока не получится. Ты давай учись, а потом поглядим, что дальше делать...

– Нет, я хочу уехать вместе со всеми, – заявил он и расправил для большей убедительности свои детские неширокие плечи.

– Не сразу, внучок, не сразу, – сдержанно ответила она. – Подожди, приеду к себе в имение, если его нам вернут, а ведь должны, непременно должны, огляжусь, разузнаю, что и как, и непременно тебя вызову.

– Я, бабушка, с вами хочу... – с тихой надеждой обронил он, силясь удержать скопившиеся против его воли слезы.

– Нельзя сразу, никак нельзя, – привлекла она его сухими тонкими руками к себе и терпеливо гладила по непокорным волосам. – Не время пока. Дорога дальняя, мало ли что случиться может. А ты мал еще. Учись, пока тебя держат тут на казенном коште. Благо, владыка, дай ему Бог здоровья, земляк нам все же... Коль совсем худо будет, иди прямо к нему и скажи, кто ты и чей есть...

Василий уже почти свыкся со своим незавидным положением изгоя даже среди ссыльных. Сироты взрослеют рано. А тут, узнав, что бабушка, которая была единственной его защитой в

этой жизни, собирается вернуться без него к себе на родину, чтобы, как она выразилась, хоть умереть на родной земле, опечалился вконец. Получается, взрослые думают в первую очередь лишь о себе, стремятся как можно быстрее уехать из опустылевшей Сибири... А он никому не нужен, не интересен, никто его не любит...

От этих мыслей Василию захотелось умереть, кинуться в реку и медленно погрузиться на самое дно, только бы не видеть всего вокруг, не ощущать собственной ненужности и полного одиночества. Ни слова не сказав, ни о чем больше не спросив, он пошел к старшему своему дядьке Семену, надеясь хоть от него услышать что-то радостное для себя или по крайней мере почувствовать заботу и сострадание. Но и там его встретили холодно, посмеялись лишь, как он смешно выглядит в семинаристской одежде, и пообещали как-нибудь справиться ему обновку. По радостной обстановке в доме он понял, что и они готовятся к отъезду. Не простившись, ушел и побрел на берег вздыбившейся от половодья реки, надеясь украсть где-нибудь рыбацкую лодку и выплыть на середину, а там уж как получится... Обратного возвращаться он не хотел. Зачем, если теперь каждый живет сам по себе и в их радужных планах ему, Василию, нет даже самого малого укромного уголка.

Лодку он нашел без особого труда, не обратив внимания на показавшихся ему знакомыми теток, что с мостков полоскали в реке постиранное белье. Те же, заметив его издали, продолжали заниматься своим делом, но все же время от времени бросали настороженные взгляды в сторону мальчика, уверенно подошедшего к лодке и пытавшегося столкнуть ее в воду. Удалось это ему не сразу – пришлось приподнять ее за носовую часть, раскачать, чтобы она сошла с песка и начала погружаться в воду. Не заботясь о том, что он промочит ноги, Василий все дальше сталкивал лодку с пологого берега, а потом прыгнул в нее и принялся крепить весла в ключины. В это время одна из женщин громко крикнула:

– Эй, паренек, далеко собрался?

Он не счел нужным ответить и сделал два неуверенных гребка. Ему приходилось прошлым летом ездить с соседними мужиками на другой берег за ягодами, и он видел, как лихо они управляют с веслами. Но у него это выходило плохо, лодка крутилась на месте, и он никак не мог приноровиться и сделать гребок в нужную сторону.

Тогда одна из женщин, а вслед за ней и вторая, сложив белье в корзину, кинулись к нему.

– Стой! – кричала та, что повыше ростом. – Стой, кому говорю!

– Вылазь из лодки, утонешь! – кричала бегущая за ней следом. – Лодка дырявая, гребни к берегу...

Василий слышал их предостережения, но продолжал бестолково работать веслами, то удаляясь, то приближаясь к берегу. Его даже обрадовало, что лодка дырявая и не придется бросаться через борт в реку – он просто медленно утонет вместе с ней, и пусть бабка и дядьки его, учитель в семинарии потом жалостливо вздыхают, что незаслуженно обижали его и не поддержали в трудный момент.

Женщины, подбежав к тому месту, где только что стояла неисправная лодка, без раздумий кинулись в реку, благо вода доставала им только до пояса. Одна уцепилась за нос и потянула посудину к себе, а вторая, зайдя сбоку, легко вырвала из детских рук весло и даже замахнулась им на мальчишку.

– Ишь чего удумал, решил на дырявой лодке плавать! Я те покажу, как на берег выберешься...

Сообща они подтащили лодку, в которую из щелей в днище уже успела набраться речная вода, обратно к берегу и ждали, когда Василий выберется из нее. Но он закрыл лицо руками и неожиданно для себя зарыдал.

– Да ты чего? – спросила старшая. – Ты же соседский сын, мы тебя знаем. В семинарии, кажись, учишься. Точно говорю, Ирка? – обратилась она к подруге.

– Он и есть, все верно, Катерина, – подтвердила та. – Как же не знать, вроде как Васятка зовут? И чего расхныкался? Ну? – ласково спросила она и притянула его как-то особенно, по-матерински нежно и ласково к себе.

Василию стало совсем невмоготу, и он зарыдал громко, навзрыд, ничего не слыша и не видя кругом. Он не помнил, как бережно женщины вывели его из лодки, подхватили белье в корзине и повели в сторону дома. Остановившись на дороге, он не пожелал идти к предавшей его бабке, стал вырываться. Тогда старшая, Катерина, приняла неожиданное решение:

– Айда к нам, мои все умчались куда-то, посидим вместе рядком, поговорим ладком. И ты, Иринка, заходи ко мне, а то сегодня за работой и словечком не перемолвились.

Только там, в доме, устроившись на лавке между двух незнакомых теток, Василий немного успокоился и вдруг, все еще всхлипывая, принялся рассказывать, как все его бросили, собрались уезжать, а он, оставшись один, решил утопиться.

– Да как же ты такое удумал? – всплеснула руками хозяйка дома. – У тебя жизнь-то вся впереди, а ты топиться решил. Мало того, что в рай не попадешь, так ведь ничего на свете не увидишь. А жизнь – она штука такая: сегодня – худая, а завтра – веселая. Так говорю, Иринка?

– Правильно, так оно и бывает, – согласилась ее подруга. – Рано тебе еще, сынок, о смерти думать, она сама, когда надо, придет.

– Это у тебя сперва мать, а потом и отец померли? – осторожно спросила его Катерина.

– Да, – выдавил из себя Василий. – У меня...

– Бедный мальчонка! – всхлипнула тут же Ирина. – Малец совсем, а жизнь его вон как скрутила, и пожалеть тебя, приласкать некому совсем...

Василию стало неожиданно хорошо от слов этих почти незнакомых ему теток, которых он несколько раз встречал на улице, но совсем ничего не знал о них, считая, как все его родичи, людей, живущих поблизости, если не врагами, то людьми другого сорта, неподходящими для близкого знакомства. Хозяйка, Катерина, хватилась, что одежда у них мокрая, и ушла за печку переодеться, а Ирина, выжав подол на крыльце, продолжала сидеть рядом с ним, положив твердую мозолистую ладонь ему на плечо. Он не помнил, чтобы покойная мать, а тем более бабка вот так прижимали его к себе, отчего, казалось, одна душа соприкасалась с другой, и хотелось плакать от умиления и заботы.

– Думаешь, у нас с Катериной жизнь легкая? – спросила неожиданно его Ирина. – Как бы не так! У нас с ней оба мужа в солдатах были и сгинули, непонятно где, а может, и живы, да к нам не желают возвратиться. Не нужны мы им. Стало быть, нашли других, кого моложе да краше. Так что же нам теперь, тоже в омут головой кинуться? А детки как же? Одни выросли, другим еще помощь наша нужна... Вот и тебя, как вырастешь, тоже ждать кто будет, с ней и соединишься, слюбитесь...

– Ладно тебе, Иришка, рано ему про любовь думать. Ты, малец, учиться сколько еще будешь?

– Не знаю, пока не научусь всему, что нужно... За меня, бабка сказала, владыка деньги заплатил, значит можно и дальше.

– Оно и хорошо, что добрый человек подсобил. Учись, сынок, все пригодится и на пользу пойдет, а там оно само собой все решится. А то, что родичи твои ехать собрались, ты тоже их пойми, бабка твоя старая уже, тяжело ей здесь, барыня к тому же. Пушай едут, а мы тут с Иринкой за тобой присмотрим. Можешь к нам приходить, как к себе домой. Куском не попрекнем, в рот заглядывать не будем – все, что есть в печи, – на стол мечи. Так и живем: много не надо, а что наше, то не отдадим, – неожиданно громко рассмеялась она.

Улыбнулся и Василий, представив, как она мечет пироги из печи на стол, а он сидит на лавке и пускает слюнки, ожидая домашней стряпни.

– Давай покормим мальчика, – предложила Ирина, – а то вас там на монашеских харчах не больно-то потчевали. Что у тебя, Катюха, есть для гостя?

– Шаньги творожные и молочко, утром свою буренку доила. Будешь? – спросила она с улыбкой.

– Буду, – смущенно ответил Василий, хотя совсем недавно вышел из-за стола. А потом вдруг заерзал на лавке, почувствовав только сейчас, что у него штаны мокрые до самых колен. Видимо, Ирина тоже заметила это и предложила:

– Иди за печку, снимай свои порты, найдешь там что сухое от сыновей Катькиных себе по росту.

Василию ничего не оставалось, как подчиниться, что он и сделал с превеликим удовольствием, почувствовав не только заботу, но незримое родство с этими женщинами, которых он еще час назад толком и не знал. Теперь он уже был не один, а сознавал себя их общим сыном, а другого ему и не надо было.

Так он просидел в доме у Катерины до вечера, помог ей замесить тесто, отнес ведро с водой в коровник, осторожно погладил буренку меж крутых рогов, вдохнул незнакомый ему прежде навозный аромат и без спроса забрался на неожиданно поманивший его сеновал. Полежал там чуть, но потом спохватился, что его могут хватиться, и вернулся в дом, ощущая на себе ставший неожиданно привычным запах коровника. Когда вернулись два сына Катерины, то не особо удивились присутствию в доме незнакомого паренька и, наскоро перекусив, позвали его ночевать на сеновал.

Василий прожил у Катерины несколько дней, ничего не дав знать о себе родственникам. И те не хватились его, посчитав, что он вернулся в семинарию. Когда пришла пора возвращаться на учебу, то обе женщины собрали ему небольшую котомку, куда положили разной домашней снеди. Он молча прошел мимо дома бабки Пелагеи и, пересилив себя, даже не взглянул на ее окна. Судя по стуку топора из-за ограды, они еще никуда не уехали, решив дожидаться в Тобольске начала санного пути. Когда ему разрешали отлучиться из монастыря, он спешил побыть хоть часок в доме у Екатерины, где успел подружиться с ее сыновьями, хотя они были на несколько лет старше Василия. Мимо дома бабки Пелагеи он проходил, опустив глаза в землю, боясь, как бы не встретить ее стоящей возле ворот. Но она уже давно не выходила на улицу, предпочитая находиться у себя в спальне перед намоленными еще ее предками иконами. Может, и видела она в окно, что внучок ее частенько пробегает мимо, а может, и нет, но знать о себе Василию никак не давала. В душе он желал вернуть былые добрые отношения с ней, но «непоборимость» рода Мировичей не давала ему решиться на замирение. Поэтому он просто ждал, доверившись судьбе, чем закончится их размолвка.

Незаметно подкралась слякотная осень, ветер обрывал листья со столетних берез, растущих вдоль монастырской ограды, задувал в окна семинарии, бросая в них речной песок и ветошь, подобранную где-то на пустынных улицах. Потом на неделю зарядили дожди, и вслед за ними неожиданно ударил мороз и накопившаяся в канавах вода застекленела, создав внутри себя иной мир, недоступный человеческому глазу. К вечеру на землю посыпались миллионы снежинок, быстро засыпав оставшиеся с лета пожухлые травинки, норки спрятавшихся на зиму мышей, ложась на крыши домов и на торопливо спешащих в теплые дома людей. Сибирский городок словно замер от снежного величия, и день-другой никто не решался тронуть сказочный покров; люди старались не выходить из дома. Зато потом началось бешеное оживление, и в разные концы понеслись запряженные застоявшимися в стойлах лошадьми долгожданные сани-кошевы, сани-дровни, сани-розвальни, сани-казанки, санки беговые, водовозные, и все они одновременно двигались, неслись по тобольским улочкам, норовя зацепить друг дружку, создавая при этом визг, скрип на поворотах, перекрываемый храпом и ржаньем лошадей. Через пару недель встали городские речки, и семинаристы через тайную дыру в заборе бегали на соседскую Монастырку опробовать еще неокрепший лед, катались, прыгали на нем. На душе от этого простора становилось неожиданно хорошо и гулко, словно кто-то вдувал в тебя живительные иголки морозного воздуха, бодрящие и пьянящие мозг.

За этими природными переменами Василий совсем было забыл о скором отъезде своих родичей. Но однажды ранним утром, когда уже окончательно встали морозы и снег достиг нескольких вершков, а потому из города потянулись вереницы обозов, идущие кто на север, а кто в сторону Тюмени, он был вызван за ворота монастыря. Чуть в стороне от дороги в крытой повозке сидела, закутавшись в меха, Пелагея Захаровна и ее младший сын Дмитрий. Мимо них тащилась вереница саней, в которых лежали сваленные рогожные кули с рыбой. Василию бросилось в глаза, что на ближних санях верхний куль был разорван и наружу выбился оранжевый плавник то ли карася, то ли замерзшего здоровенного окуня. И когда сани подбрасывало на очередной кочке, он словно помахивал Василию, прощаясь с ним. На коленях у Пелагеи Захаровны лежала подшитая снизу камкой оленья шкура, которую прежде Василию видеть не доводилось, и он с удивлением уставился на нее, прикидывая, откуда она могла оказаться у его бабки. Он бы и дальше переводил взгляд с проезжающих мимо саней на одежду сидящего к нему боком возницы, разглядывал лошадиную сбрую, комья снеговой наледи, лишь бы не встречаться взглядом с бабушкой Пелагеей, которая тоже почему-то молчала и не начинала разговор. Наконец она первая не выдержала и, не выходя из саней и не подзвав Василия поближе, сказала чуть громче обычного:

– Прощай, внучек... Вот и собрались мы, едем... Жди известий. Как обустроимся, обязательно вызову тебя к себе.

Василий стоял, насупившись, не особенно веря в ее обещание.

– Что молчишь? Приедешь? – нетерпеливо спросила она. – Ну, решай сам... – и ткнула вознице вязаной рукавицей в бок. – Едем!

Он остался один, продолжая все так же равнодушно разглядывать тянувшийся вдоль речки рыбный обоз. Рядом с санями шагали мужики в длинных, до земли, тулупах. Некоторые из них держали в руке ременный кнут и изредка щелкали им в воздухе, заставляя свою лошадь идти побыстрей. И Василию захотелось броситься к ним и вот так же идти рядом, пощелкивая на ходу и сплевывая на землю кедровые орехи, и идти далеко-далеко, и навсегда забыть ненавистные уроки латыни, холодные монастырские стены и жить той жизнью, которую выберет он сам.

Но тут сзади раздался властный голос префекта семинарии, вышедшего вслед за ним и потребовавшего, чтобы он немедленно шел в класс на занятия. И Василий покорно поплелся вслед за ним, время от времени оглядываясь назад, где медленно двигался рыбный обоз и не спеша шли мужики в длиннополых тулупах.

Единственное, что его теперь согревало изнутри, – это семьи двух солдаток на иртышском берегу. Он знал: там ему всегда рады, там он был желанным гостем и почти своим человеком в двух больших семействах оставшихся без мужей солдаток. Туда он всегда спешил с радостью, решив, что это и есть отныне его родной дом. В конце зимы ему сообщили, что уехали все братья отца и сестра с мужем. Другая его тетка перебралась еще раньше куда-то за Урал и никаких известий не подавала. Василий терпеливо ждал всю зиму и следующее лето вестей от Пелагеи Захаровны, но писем не было. Может, не дошло письмо, потерялось в дороге, терпеливо объясняла ему Катерина при встрече, а может, и иное что...

Прошло несколько лет. Василий готовился к сдаче экзаменов и не знал, куда ему определится после окончания семинарии. Идти на церковную службу, как настаивала на том бабушка Пелагея, он не хотел, да и вряд ли ему дали бы свой приход, пока он не женится, а до этого было ой как далеко, и потребности в том он пока не ощущал. Тогда по совету инспектора семинарии он написал прошение на имя императрицы о зачислении его в Шляхетский сухопутный кадетский корпус. Прошло несколько месяцев, и из Петербурга пришел ответ, что Василий, сын дворянина Якова Мировича, знающий грамоту и счет, принят кадетом в Шляхетский корпус и ему надлежит явиться для зачисления в столицу, на Васильевский остров, где тот корпус и помещался.

Теперь уже он ждал, когда установится санний путь. Собрав все необходимые бумаги, простился с приютившими его женщинами и, получив в канцелярии губернатора прогонные деньги, отправился в столицу. Там его ждала отличная от прежней жизнь среди таких же, как он, дворянских детей, избравших воинскую службу. Только он не имел дружеской поддержки сильных мира сего и мог надеяться только на себя самого. И Василий хорошо понимал это, но верил, что теперь фортуна будет благосклонна к нему. Придет срок, и он покажет себя, пробьется на самый верх, и порукой в том – их родовая «непоборимость» и закалка в сибирской ссылке. Нет, он не сдастся, не затеряется в мире, где столько искушений и соблазнов. О нем вскоре узнают, заговорят, и тогда... Он плохо представлял, что будет «тогда», когда он получит офицерский чин и начнет службу; он просто верил, что взамен перенесенных утрат будет удостоен более счастливой жизни.

Глава 2

КАДЕТСКИЙ ШЛЯХЕТСКИЙ КОРПУС

1

В Шляхетский корпус в тот год зачислили в два раза больше юношей, нежели в предыдущие годы. Объяснялось это обстоятельство тем, что императрица Елизавета Петровна из-за своей нелюбви к прусскому королю Фридриху объявила главным своим генералам о подготовке к скорой войне, начать которую было решено летом следующего года. Но то были слухи, распространявшиеся в столице быстрее фельдьегерской почты. А будет та война начата или нет, то вряд ли кому, включая саму императрицу, было известно. Во всяком случае поговаривали, будто бы изловили несколько королевских лазутчиков, пытавшихся тайно пробраться к некому лицу, помещенному в крепости где-то возле Белого моря, и вывезти его в Пруссию, где должны были провозгласить законным наследником.

Те, кто был сведущ в придворных делах, хорошо знали имя этого лица и причины, по которым он оказался в заключении. На их памяти были выпущены монеты с изображением младенца, носившего имя Иоанна Антоновича, но что с ним случилось в дальнейшем, вряд ли кто, даже из самых знающих и осведомленных, мог ответить.

Поговаривали, будто именно он, Иоанн Антонович, и есть причина страхов и опасений императрицы за свое место на российском престоле. А коварный Фридрих, не особо почтительно относившийся к женскому полу, а уж тем более, если представительница его стояла во главе какой-то страны, дал обещание исправить положение и возвести на трон несчастного юношу, доводящегося королю близкой родней.

Так это или нет, никто точно не знал, только говорить громко и вслух о том умные люди опасались, хотя русская земля издавна жила разными слухами и притчами о царях и царских наследниках. Трудно было отличить, где правда, а где досужие россказни. Когда же нескольких таких рассказчиков высекли публично на Обжорном рынке, пообещав в другой раз и языки укоротить, разговоры о том прекратились, уступив место иным выдумкам. Без вновь рожденных непонятно кем слухов столица жить не могла. И если долго не было повода посудачить о чем-то этаком, за что можно было при известных обстоятельствах попасть в опалу, а то и в дальнюю ссылку, столичные дамы грустнели и даже чахли на глазах.

В такие ответственные для них дни они приглашали к себе сведущих лекарей для снятия хандры через кровопускание или иным доступным способом. Потому двойной набор в Шляхетский корпус тут же вызвал среди дам высшего света всяческие пересуды, и на Васильевском острове, где в бывших палатах князя Меншикова помещалось то заведение, стали вдруг появляться богато украшенные кареты с известными в Петербурге вензелями на дверцах.

На сей раз кто-то сообщил, будто бы для обучения военному делу наряду со всеми приняли того юношу, из-за которого могли произойти военные столкновения с прусским королем. А чтобы его труднее было отличить от остальных, в корпус было принято больше молодых людей. Отдавали же предпочтение юношам, которые были весьма похожи на него своим обликом. Поскольку лица того принца никто никогда в глаза не видел, то дамам оставалось только гадать, увидев выходящих оттуда молодых людей, не тот это юноша.

Через какое-то время любопытствующим дамам становилось скучно сидеть в своих каретах в одиночку, и они, увидев кого-либо из знакомых, столь же безуспешно наблюдающих через зеркальные стекла за выходящими из корпуса молодыми кадетами, посылали лакея пригласить

свою знакомую коротать время совместно. Время за разговорами бежало куда быстрее, тем более что всегда находился предмет для совместных обсуждений и тайных откровений.

«Правду ли говорят, будто бы на обучение нынче приняли известное всем лицо, дабы он получил здесь достойное воспитание и манеры? – обычно начинала с насущной для всех темы перебравшаяся в карету гостья. – Не за этим ли вы, дорогая, пожаловали сюда, чтоб лично в том убедиться?»

«Да что вы, душа моя, и в мыслях не было, – отнекивалась на вопрос хозяйка. – Тут, мне сказывали, нынче смотр Измайловского полка должен проходить. Вот и решила взглянуть одним глазком, как солдатики маршируют...» – продолжала она, боясь показаться в чужих глазах верящей в слухи провинциалкой.

«А мне вот сказывали, будто бы...» – И обескураженная гостья начинала излагать всем известный слух о принце, за что некоторым пришлось уже поплатиться через публичное наказание.

«Быть такого не может! – делала удивленное личико более скрытная дама. – Хотя... мне рассказывали о чем-то этаким, но я не придавала никакого значения сказанному. Что же вам на этот счет известно?»

«Мне сообщила графиня К., верить которой можно, как мне самой... – пускалась в бурные объяснения дама более простодушная, верившая не только графине К., но и своей кухарке и тому, что сообщалась в присланных из-за границы письмах ее друзей, а более всего собственным сном. – Так вот вы, должно быть, тоже наслышаны о благодеяниях нашей матушки-императрицы, но на этот раз она превзошла все свои ранее совершенные благодеяния...»

Хозяйка кареты, чей муж служил в небольших чинах в Правительствующем Сенате, хорошо знала о многих делах дочери императора Петра, но затруднилась бы ответить на прямой вопрос насчет ее благодеяний, если не считать за то ее частые летние походы на богомолье из старой столицы в Троице-Сергиеву лавру. Тогда же многие дамы из знатных петербургских семейств тоже взяли за обычай вместе со всем двором плестись пешком по пыльной дороге вслед за императрицей. Известно было многим и о веселых пирушках, устраиваемых при частых остановках во время тех богомолий, когда подвыпившие кавалеры не без взаимности признавались в любви участвующим в том статс-дамам. От этих приятных воспоминаний обе дамы блаженно улыбнулись, чувствуя, как кровь прилила к лицам, и перевели свой разговор на предстоящие зимой балы и маскарады.

Действительно, после памятного правления императрицы Анны новое царствование Елизаветы Петровны воспринималось всеми обосновавшимися при ней царедворцами как время благодное и благодетельное. Народ словно ожил и спешил строить не только новые дома и имения, но и Божьи храмы, возводя их как в самой столице, так и в самых дальних уголках Российского государства. Многие вельможи были осыпаны милостями государыни за верность ей, за службу, за дела на военном и дипломатическом поприще. И плох был тот генерал, что не имел на груди трех, а то и более орденов, врученных ему по приличествующему случаю.

Но самое великое благодеяние коснулось Алексея Григорьевича Разумовского, бывшего не столь давно у себя в Малороссии просто Алешкой Розумом, – церковным певчим на хуторе под Черниговом. Теперь же он стал светлейшим графом и недавно был произведен в фельдмаршалы. Таких благодеяний вряд ли кто на этом свете еще удостоится. Его тайному венчанию с императрицей уделили разговоров и перешептываний прошлой осенью в темных углах приемных покоев во много раз больше, чем жертвам последнего наводнения, когда водой унесло несколько сотен лачуг, ютившихся вдоль Невы. Сам новоявленный граф и фельдмаршал оказался человеком вполне безобидным и даже робким и никогда в многочисленных дворцовых интригах не участвовал, но безродность его стала притчей во языцех. Наиболее дерзкие сановники называли даже своих породистых кобелей его именем и со смехом объявляли о том, не боясь последствий, в кругу друзей.

Затем хозяйка кареты подумала о самой императрице, с которой была примерно одного возраста и знакома едва ли не с детства. По ее вполне заурядному женскому мнению, бесхитростная и благодушная императрица сама нуждалась порой в помощи, будучи не в силах понять, как ей вести себя со своими министрами, одолевавшими ее всяческими несбыточными прожектами, за которыми виделась лишь их собственная корысть и выгода. И те, кому пришлось застать раскрасневшуюся и тяжело дышащую Елизавету Петровну, торопливо выбегающую из собственного кабинета, где ей несколько часов подряд приходилось вести спор с государственными мужами, не сговариваясь, принимались жалеть ее и пенять на хихикающих ей вслед индюков-министров. И как было не пожалеть несчастную женщину, не имевшую поддержки в родной стране и сотню, тысячу раз пожалевшую, что согласилась в недобрый час занять отцов престол. Вот ее-то и надо бы, прежде всего, облагодетельствовать, поддержать, научить твердости и решительности.

Вдруг отвлекшаяся в своих размышлениях хозяйка кареты услышала вскрик собеседницы, и мысли ее тут же вернулись к теме их беседы. А та, тыча пальчиком в стекло, горячо произносила:

– Это он! Не иначе, как он! И стать и выправка соответствуют его происхождению...

– О ком это вы? – спросила пришедшая в себя дама.

– Видите того юношу? Высокий, спина прямая и шагает так степенно, наверняка он и есть тот, о ком все говорят.

– Очень может быть, – нехотя согласилась с ней более иронично настроенная дама, хотя не нашла в походке и манерах у проходившего мимо молодого человека ничего выдающегося. Но спорить ей не хотелось, а потому она легко согласилась с приятельницей. Но тут же решила придать нотку пикантности их разговорам и мечтаниям.

– Может, пригласим его к нам и спросим напрямую? – предложила она и испытующе глянула на свою легкомысленную подружку. – Попросим моего человека, чтоб он представил его нам, а там уже найдется повод для беседы.

– Нет, я плохо сегодня выгляжу и совсем не готова к встрече с его импера... – Тут она осеклась, поняв, что сказала лишнее, и, совершенно сконфузившись, замолчала.

– Тогда как хотите, меня лично он совсем не интересуется. К тому же меня ждут с визитом, и на этом я вынуждена, моя дорогая, распрощаться с вами, хотя мне была очень приятна наша беседа.

Тихо вздохнув, ее собеседница покинула карету, понимая, что наговорила много лишнего, и, выйдя на продуваемую холодным ветром с моря площадь, направилась к своей карете, где ее лакей уже спешил открыть дверцу. Так они и разъехались в разные стороны, а молодой человек, заинтересовавший их, прошел мимо и так никогда не узнал, с кем его спутали почтенные дамы.

2

Подойдя к величественному дворцу, где при входе на часах стоял усатый гренадер, Мирович, по-мальчишески вздернув бровь и оттопырив нижнюю губу, коротко, как учили, козырнул ему и вошел внутрь. Там его тут же окликнул пожилой усатый вахмистр, бдительно наблюдавший за всеми, кто входил с улицы и поинтересовался:

– По какому делу отлучались, кадет Мирович?

– По личной надобности с разрешения его высокопревосходительства господина начальника корпуса генерала Игнатьева, – не растерявшись, отрапортовал юноша.

– Может, мне дозволено будет узнать, как вашему ротному, в чем причина вашей надобности? – с издевочкой спросил вахмистр, не доверявший особо ответам своих подопечных.

Вахмистр Семеныч, а по имени его никто и не называл, вышел из орловских крестьян. Прослужив положенный срок и пожелав остаться на службе, получил свою должность не столько за воинские заслуги, сколько за расторопность и умение найти общий язык с высоким начальством. Поначалу ему непросто было ладить с молодыми людьми из знатных семейств, имевших по несколько тысяч таких, как он, крепостных, но постепенно обвыкся со своей должностью, почувствовал вкус к строгостям. Начальник корпуса и не думал его наказывать за те строгости, а даже относился к ним с поощрением, поэтому Семеныч все чаще и изошреннее продолжал чинить кадетам всяческие препоны, а порой и подвохи, неукоснительно проверяя каждый их шаг и поступок. Естественно, что юноши не выказывали вышедшему из крепостных вахмистру особого послушания, но дерзко отвечать боялись, поскольку назавтра могли оказаться в генеральском кабинете, где будет присутствовать и сам Семеныч, а там разговор короткий, и отправят тебя вместо ужина на плац маршировать перед гордо реявшим на шесте знаменем корпуса.

Василий Минович, понимавший, что заступиться за него, в отличие от большинства сверстников, будет некому, ни разу не позволил хоть как-то возразить или с дерзко ответить на придирки Семеныча, но и в нем порой просыпалась родовая непоборимость ко всем, кто смел диктовать свои законы и условия. Но еще во время учебы в семинарии он научился сдерживать себя, помня, что придет и его час и он тогда покажет всем, а обидевшим его особенно, кто он есть на самом деле... Потому и здесь, будучи правым, никак не отвечал на упреки и унижения со стороны старших офицеров, а тем более сверстников, чьи родители жили во дворцах с многочисленной челядью и которые по выходе из корпуса готовились занять высокие должности в войсках.

Любой из них на подобный вопрос усатого вахмистра, не задумываясь, ответил бы: «Не твое дело, старый хрыч!», а потом со смехом пошел бы маршировать на плац. Но Василий не мог позволить себе подобного, а потому с достоинством, проговаривая каждое слово, ответил: – Относил прошение в Ея Императорского Величества личную канцелярию.

Непонятно, поверил в его ответ Семеныч или нет, но для вида покрутил головой, мол, знаем мы ваши прошения. Поди, в ближайшую булочную бегал калачей отведать, но больше спрашивать не стал и отвернулся в сторону. С этим Василий и пошел дальше, вполне довольный ответом, а более всего тем, что ему наконец-то удалось отнести прошение на высочайшее имя о возвращении ему, как законному наследнику, части дедовских имений и поместий.

В Петербурге удалось узнать, что бабка его, добравшись вместе с младшим сыном Дмитрием в родные места, никак не могла вступить в права владения тем, что некогда принадлежало ее мужу. Никто не мог ей ответить, лишили ли ее всех прав, поскольку суда или царского указа на этот счет не было, или она может отныне считать себя вместе с сыном и внуками полновластной хозяйкой того, что по праву когда-то принадлежало ей и мужу. Минуло больше трех десятков лет, и на их землях поселились совсем другие люди. Кто-то из ближних соседей, посчитавших, что нечего пустовать плодородным землям, начал их без всякого на то разрешения возделывать. Были и те, кто приехал издалека и при поддержке нового гетмана поселились там, где им более всего приглянулось. У старой женщины не было сил противостоять чужакам, и она, чтобы не растерять их совсем, поселилась на небольшом хуторе у принявших ее незнакомых людей. А сын, не желая испытывать унижения изгоя, уехал, не сказав, куда, и с тех пор не подавал о себе никаких весточек.

Потому Пелагея Захаровна и не взяла с собой внука, что предполагала такой поворот дел, навидавшись всякого за свою долгую жизнь. И потом не писала ему, надеясь, что Василий сам пробьется в этой жизни, не будет ворошить прошлое, надеяться на поддержку тех, кто еще помнил его славных предков.

Василий, узнав о том, решил пойти законным путем и обратиться лично к царствующей императрице Елизавете Петровне. Все обдумав, однажды после строевых занятий, увидев

в генеральском кабинете силуэт склоненного над столом начальника, он смело постучался к нему. А тот, всякого испытывший за свою службу, почему и оказался в стороне от больших дел в тихом кабинете то ли дядькой, то ли надзирателем за чужими детьми, внимательно выслушал его рассказ и, тяжело вздохнув, спросил:

– От меня чего хочешь услышать?

Василий опешил, не ожидая подобного вопроса, но потом собрался с мыслями и вместо того, чтобы пожать плечами и уйти, чего, видно, и ждал от него старый генерал, ответил:

– Совета, ваше высокопревосходительство.

Генерал Игнатьев еще какое-то время рассматривал юношу или делал вид, что смотрит на него, а сам размышлял, как правильно ответить, чтобы не обидеть незаслуженно настрадавшегося сироту, которому в душе сочувствовал. Направить его на путь поиска правды не смел, зная, чем те поиски могут обернуться для него лично. Потому, взвешивая каждое слово, предложил:

– Не лучше ли... будет... подождать? ...

– Чего прикажете ждать? – тут же подхватил Мирович, пытаясь перевести их разговор к чему-то ясному и понятному.

– Ждать, когда все прояснится. Чего же еще... – Генералу Игнатьеву не хотелось полной ясности, потому как в тени ее таилось много опасных поворотов и неожиданностей.

– Моя бабушка и все другие тридцать лет ждали, – не особо раздумывая, внес ясность Василий.

– Напиши прошение. – Игнатьев попробовал все же дать совет, наперед понимая, что любое прошение не несет в себе ответа на поставленный перед ним вопрос.

– На чье имя прикажете писать? – Василий, ведомый все той же своей «непоборимостью», не думал отступать и покидать кабинет, не разобравшись хоть в чем-то. – На ваше имя или... – Он не стал продолжать, поскольку все же надеялся на генеральскую помощь хотя бы в самом малом, что тот подскажет, куда именно стоит отправлять прошение.

Генерал помялся, но потом решил, что вряд ли ему кто-то поставит в упрек данный молодому воспитаннику совет – он же его не на измену толкает, а всего лишь к поступку, разрешенному каждому верноподданному. И, как бы нехотя, глядя на темное окно, обронил:

– На имя государыни императрицы... – Помолчал, кашлянул и спросил осторожно: – Без ошибок сумеешь сам написать или обратишься к кому знающему?

Василий хмыкнул, поскольку, еще учась в семинарии, уже писал прошение на высочайшее имя о зачислении его в Шляхетский корпус. И за небольшую плату часто помогал младшим ученикам-семинаристам писать разные прошения-ходатайства на имя владыки, а потому опыт в том имел.

– Разрешите идти? – спросил он, понимая, что ничего другого, даже слов поддержки, он от этого пожилого человека не услышит. Да и не нужны они ему были – пережил уже ту пору, когда хотел броситься в реку от жалости к самому себе.

И генерал, словно почувствовав, что этот юноша сам справится со всеми напастями и постоит за себя, ничего говорить ему не стал, лишь устало махнул рукой, отпустив того и дальше шагать по жизни в одиночку без чьей-либо помощи.

Вот тогда-то Василий Мирович выпросил в канцелярии специальный лист с царским гербом, на который писец посадил большую кляксу. Заполучив тот испорченный лист, он аккуратно счистил пятно, как это не раз приходилось делать ему еще в семинарии, и написал прошение на высочайшее имя, которое и отнес в канцелярию ее величества.

Так что он не сказал ни слова неправды остановившему его Семенычу, не уточнил лишь то обстоятельство, что отлучился он, не поставив в известность генерала Игнатьева. Но не он ли самолично присоветовал ему то прошение написать? А раз написал, то его нужно и отнести по месту. Как же иначе? У него же нет пока денщика, кто смог бы сделать это.

И теперь ему, как и сказал изначально Игнатъев, нужно будет ждать. Но не просто ждать, пока что-то там произойдет и случится, а ждать ответа на свое прошение из канцелярии государыни. А сколько придется ждать, на то вряд ли кто мог ответить.

Но ждать Василий научился и от этого даже испытывал приятное чувство покоя: раз ждешь, значит, где-то происходят некие события, которые рано или поздно повернут, изменят твою жизнь. А куда повернут и как изменят? Так ли это важно! Его жизнь только начиналась...

3

Столица первоначально произвела на Мировича тягостное впечатление. Казалось, он попал в огромный двор для приезжих, где нет никакого порядка и устройства: все двигалось, перемещалось с места на место, и никому не было дела до других. Все жили как бы сами по себе.

Вон летит верховой в мохнатой бурке и громко что-то кричит. Возле покосившейся избы с незакрытой дверью трое нетрезвых мужиков толкают друг друга, чего-то при этом бормоча. А прямо на дороге у хиленького мужичонки развалился стог сена, и он торопливо пытался перетянуть его покрепче просмоленной веревкой.

Сбоку от дороги на едва покрытую льдом реку, название которой Василий пока не знает, забралось несколько мальчишек. Они бегали по льду, как когда-то и он, учась в Тобольской семинарии, – скользили, падали, поднимались и вовсю хохотали.

Рядом с мостом, которых здесь великое множество, стоял нищий старик с непокрытой головой, а с ним мальчик, и оба негромко что-то пели, протянув перед собой ладони для милостыни.

По мосту двигалась процессия из нескольких десятков человек с крестами и хоругвями. Впереди несли покрытый сверху цветастыми рушниками образ Богородицы. Вышагивающий впереди священник с кадилом в руках придирчиво посматривал по сторонам: крестится ли народ на проносимую мимо них икону. Василий, только ступивший на мост, посторонился, стянул шапку с головы и торопливо наложил на себя крестное знамение, на что батюшка благожелательно кивнул ему. А следом за процессией недружно шла рота солдат, часть из которых несла под мышками березовые веники, направляясь, судя по всему, в баню на очередную помывку.

Первые дни Василий опасался выходить один из казармы, где жили казеннокоштные воспитанники. Он дождался кого-то направляющегося в город по своим делам и, тихонько пристроившись сзади, следовал за ним. Раз случился такой казус, вспоминая о котором, он до сих пор испытывал неловкость. Тогда он долго стоял у выхода, дожидаясь, пока кто-то не выйдет из двери. Наконец на улицу чуть не бегом выбежал юноша, видимо, из другого отделения, потому что Василий его не знал, но в такой же, как и он, кадетской форме. Скорым шагом он направился в сторону ближайшего моста через реку, и Василий, стараясь не упустить его из виду, побежал следом. Подойдя к мосту, парень обернулся и увидел нагонявшего его Василия, остановился и, грозно сдвинув брови, спросил, дождавшись, когда тот поравняется:

– Кто тебя за мной подглядывать отправил? Вахмистр наш? Говори, а то как двину, не обрадуешься.

Он был шире в плечах и на полголовы выше, поэтому Василию стало не по себе, но и признаваться он не пожелал, а потому, изобразив на лице удивление, ответил:

– С чего ты решил, будто бы меня кто-то отправил за тобой? Я сам по себе иду и подглядывать совсем даже не собираюсь.

Трудно сказать, поверил ему парень или нет, но все же для верности уточнил:

– Точно не вахмистра соглядатай? А то мне говорили, будто есть у него такие. Чтоб выслужиться, ябедничают на других.

Василий покраснел до самых кончиков ушей и едва не вспылил, но сдержался, пояснив:

– Город плохо знаю. Вот и ждал, чтоб с кем-то вместе пойти...

– Что ж сразу-то не сказал? Тогда другое дело. Тебя как зовут? Вот я – Аполлон, – и он для верности ткнул себя пальцем в грудь.

– Какой Аполлон? – растерялся Мирович, поскольку ранее ему не приходилось слышать такого имени, разве что в греческих сказаниях, которые он читал в семинарии, упоминался языческий бог с таким именем.

– Да не тот, что ты думаешь, – широко улыбнулся хозяин странного имени. – Окрестили меня так, Аполлоном. Ничего, привыкнешь.

– Меня Василием нарекли, – ответил ему Мирович и поклонился.

– Оно и ладно. Так куда ты собрался пойти? Просто прогуляться или по делу какому? Сам откуда будешь? Я из-под Ярославля сюда прибыл, а ты?

Он засыпал Мировича вопросами и при этом не ждал, что тот на них ответит, а продолжал частить, одновременно спрашивая и рассказывая о себе.

– Папенька меня определил в корпус, я же хотел на статскую службу пойти по коммерческой части, поскольку пристрастие к счету имею, к арифметике, а он ни в какую. Мол, у нас, в роду Ушаковых, сроду купчиков не было, не наше то дело – чужие деньги считать, цифирки выводить. Коль Бог тебе способности к счету дал, иди в артиллерию, а то наследства лишу. И весь сказ. Тебя сюда тоже по указке отца направили?

Мирович не знал, что на это ответить, очень уж ему не хотелось перед этим ладным и расположенным к откровенности парнем рассказывать о судьбе своего ссыльного семейства. Потому он неопределенно ответил:

– У нас в роду тоже все сплошь в войске служили, только в казачьем. Мне без службы никак нельзя...

– Так ты из черкасов, что ли, будешь? – скорее утвердительно заметил Ушаков. – А чего, похож. С Малороссии, значит. Точно, суржик, как есть. – Василия передернуло от всплывшего неожиданно его семинаристского прозвища, но он и виду не подал. Аполлон же, как ни в чем не бывало, продолжил свои откровения:

– У нас в приходе батюшка с ваших краев, прям как твой родич. Так ты куда все же шел? Пойдем вместе, веселее будет.

Они уже перешли через мост и теперь двигались по оживленной улице, уворачиваясь от зазеленелых комьев грязи, летевших из-под копыт коней. Говорил больше Ушаков, рассказывая о своем доме, как добирался в Петербург вместе с отцом, который не успокоился, пока не определил его в корпус, об офицерах, что ведут с ними занятия. Он уже год, как отучился, и его, как подумал Василий, не особо отягощало житье в казарме. Он быстро находил со всеми общий язык и расположение, в то время как Мировичу, выросшему в бурсацких строгостях, трудно давались отношения со сверстниками. Раньше Василий совсем иначе представлял себе армейскую жизнь, полагая, что меж офицерами царит всеобщее братство и выручка. Но сейчас, оказавшись кадетом, ему представилась совсем иная картина – здесь каждый жил сам по себе, и не ощущалось даже малейших признаков братства.

Те, чьи отцы имели высокие чины и положение, вели себя надменно и даже нахально. Им прощались едва ли не любая провинность. Они могли опоздать на общее построение, отпроситься с занятий домой, не участвовать в строевой подготовке, и на все это начальство смотрело сквозь пальцы. Да и остальные кадеты вели себя вне занятий кто как хотел: могли в своих комнатах горланить песни во весь голос, тайком приносили в казармы вино, а захмелев, шли задирать младших, которые боялись вступать с ними в потасовки. Но чего не было в корпусе – это доноса, с чем Василий достаточно хорошо познакомился в семинарии. Хотя ходили меж кадетами разговоры, будто бы у того же вахмистра Семеныча есть свои доносители, но в лицо их никто не знал, а если бы узнали, то вряд ли они долго продержались бы в

корпусе, испытывая всеобщее презрение и получая оплеухи при каждом удобном случае. Если в семинарии приветствовалось постничество, то здесь кадеты со смехом относились к постам, и лишь единицы соблюдали их.

Тобольская семинария располагалась под одной крышей с мужским монастырем и если преподаватели не всегда могли присмотреть за разнородной бурсацкой массой, то зачастую на помощь им приходили монахи, контролируя каждый шаг и поступок семинаристов. От их зоркого взгляда трудно было укрыться, а потому не зря среди бурсаков родилась поговорка: «Кто не порот, тот не бурсак». Даже на исповеди они опасались сказать лишнее, хорошо понимая, что об этом скоро узнает ректор, а тогда жди скорого наказания за все грехи сразу.

В корпусе, где за кадетами не было особого пригляда и прощались многие их непослушания, Василий, как это ни странно, тяготился относительной свободой и вел себя в стенах корпуса так, как то было принято в семинарии. Относительную свободу он воспринимал как явление временное и часто ловил себя на том, что ждал беспричинного вызова к начальству и последующего за тем увольнения. Воспитанный в иной среде, он так и не принял до конца новый образ жизни и не мог ощутить себя будущим офицером, готовым по первому приказу шагнуть под неприятельские пули. Семинаристское прошлое тяготило его, словно гиря, связанная к ногам...

Но сейчас ему и Аполлону была предоставлена полная свобода. Они просто бродили по петербургским улицам, глаза на чужие дворцы, где в парадных стояли припорошенные снегом лакеи в диковинного цвета ливреях, переминаясь с ноги на ногу; со смехом подпрыгивали высоко вверх, пытаясь увидеть и рассказать другому, что происходит за высокими заборами; подходили к поджидающим хозяев лошадям, заботливо укрытых сверху кошмой, и хлопали их по спине. При этом умудренные опытом кучера безошибочно признали в них кадетов, хотя и делали вид, будто бы сердятся, и грозно взмахивали в их сторону длинными кнутами, но на самом деле с улыбкой посматривали на юношей. Они понимали, что никакого вреда лошадям они не причинят, пущай побалуется. Скоро придет срок тянуть этим парням воинскую лямку до конца своих дней или до тяжелого ранения, а потому не гнали прочь.

Не сговариваясь, Василий с Аполлоном завернули в хлебную лавку, откуда за квартал разносился ароматный ситный дух, где их встретил хозяин с длиннющими, как у таракана, черными усами и застывшей улыбкой на лице.

– Калаш? – тут же спросил он, едва увидел вошедших юношей. – Карош калаш!

– Ага, Ахмет, давай калач попышнее, – откликнулся Ушаков. Видно было, что он бывал здесь не раз и даже знал хозяина по имени.

– Баранка не нада? – на всякий случай спросил хозяин. – Карош баранка.

– Нет, нам и калача хватит, – расплачиваясь, ответил Аполлон.

Мировичу стало стыдно, что у него нет денег, которых ему и взять-то было неоткуда. В отличие от Ушакова, ему их никто не мог прислать, а попробовать чего-нибудь вкусенького ох как хотелось! Но Аполлон совсем не обратил внимания на то, что платит он, и тут же отломил половину калача и подал Василию.

– Ахмет хоть и не русский, а печет славные калачи. Я его лавку давно заприметил и захожу, когда рядом оказываюсь. Он мне раз даже в долг дал. Сказал, вернешь, когда деньги будут, – откровенно сообщил он.

Мировича это слегка успокоило, значит, у того тоже не всегда водятся денежки, раз пришлось брать в долг. И он решил поинтересоваться:

– Отец деньги присылает?

– Дождешься от него! – со смехом ответил Аполлон. – Просил, а он мне, мол, деньги тебе ни к чему, когда на всем готовом живешь в корпусе. Деньги, говорит, испортить могут! Никого еще не испортили, а вот меня могут!

– И где же ты деньги тогда берешь? – осторожно спросил Василий.

– Да где их взять? Играю, иначе больше негде взять, – откровенно признался тот.

– Как играешь? – удивился Василий. – В кости или в бабки?

– Кто же в бабки на деньги играть станет? Тоже мне, скажешь! Когда в кости, а чаще в карты. Я же сказал: считать люблю, а в карты считать надо, кто сколько сдал и сколько еще в колоде карт осталось, поэтому чаще всего выигрываю, но не так, чтоб много, а вот на калачи или что другое хватает.

Василий и прежде слышал об игре в карты среди кадетов, но ни разу их даже в руках не держал. В семинарии если бы узнали об этом, то мало того, что выпороли бы, а еще бы заставили несколько дней подряд читать покаянную молитву, стоя на коленях, а то бы и совсем выгнали. Поэтому ему невообразимо захотелось научиться этой игре, чтобы у него тоже завелись деньги в кармане. Чем он хуже своего нового знакомого? Считать он тоже умеет, к тому же, как слышал, в таких играх может и повезти, а в своей удаче он ничуть не сомневался.

– Научишь? – осторожно спросил он.

– А чего не научить, только с тобой на деньги играть не стану.

– Чего же так? – удивился Минович. – Боишься?

– За тебя боюсь, что обчищу и без штанов по миру пушу. Ты сперва с другими попробуй, и не на деньги, а так, на щелчки или кукареку.

– Это как? – в очередной раз не понял Минович.

– Обыкновенно! Сколько очков проиграешь, столько раз тебя и нащелкают по носу картами. Или под стол отправят, будешь оттуда кукареку кричать, пока не отпустят. Оно не всем, конечно, нравится, но зато деньги не проиграешь.

Они уже подходили ко входу в корпус, когда Аполлон, словно чего вспомнил, остановился и серьезно попросил:

– Только о том, что говорил тебе, молчок. Уговор?

– Само собой, – ответил Минович. – Да и как иначе...

– Всяко бывает, – хитро сощурился Ушаков. – А то потом скажешь, что не предупредил тебя. Мало ли что... Ладно, где тебя найти можно? Мы же в разных корпусах живем. Дворец такой огромный, я до сих пор всех закоулков тут не знаю.

Минович объяснил, где и как его лучше разыскать, и на этом они расстались. Возвращаясь к себе, Василий размышлял на ходу, стоит ли продолжать дружбу с Аполлоном, потому что вдруг понял, какие здесь разные люди, совсем не похожие на тех, с кем он имел дело раньше. Конечно, Аполлон был человеком прямым и открытым, чем и подкупал. Но трудно было не заметить, что в нем, как часто говорила его бабка, «черти гнездо свили и уходить не собираются».

Даже здесь давало себя знать монастырское воспитание, когда им изо дня в день твердили о непрестанной борьбе сил зла с добром и внушили это крепко, едва ли не на всю жизнь. А сейчас он чувствовал, что переступил ту черту, где зло живет отдельно, а добро – в противоположной стороне. В жизни трудно различить, чего в человеке больше: зла или добра. А посоветоваться не с кем, все нужно решать самому и не откладывать на какой-то срок, а именно сейчас сказать себе: я выбираю другое, совсем не то, что мне предлагают.

Василий хорошо понимал: в данном случае никакая крайность его не спасет. Или он останется без друга и будет жить сам по себе, как прежде, или он должен впустить в себя чуточку, совсем немного из того чужого мира, чтобы не выглядеть белой вороной. Так и не придя ни к какому выводу, он прошел к себе и бросился на кровать, решив еще раз все обдумать. А думать теперь приходилось гораздо чаще, чем раньше, поскольку делать это за него уже никто не станет.

4

Через несколько дней Ушаков и впрямь нашел Василия в комнате, где жили еще пять человек, и вызвал его в коридор. Там их поджидал еще один парень в такой же, как у них, форме Шляхетского корпуса. Но он был немного старше Аполлона, а тем более Василия.

– Прошу любить и жаловать – Петр Ольховский. Мы с ним сошлись еще раньше, чем с тобой познакомился, – представил того Ушаков.

Минович в ответ кивнул головой, ожидая дальнейших предложений.

– Ты, помнится, говорил, что хочешь картежной игре научиться? Правильно говорю? – спросил Ушаков.

– Говорил, – согласился Василий, а в душе своей почувствовал колкий холодок от предстоящего участия в игре.

– Тогда пошли, – решительно предложил Ушаков. – Втроем оно ловчее учиться будет. Да, ты ничем не занят? – спохватился он.

– К занятиям успею подготовиться, – ответил Василий. – Устав воинский наизусть выучить надо. Я уже половину осилил...

– Без устава никак нельзя, – с усмешкой вступил в разговор Ольховский, – а то не будешь знать, в какую сторону бежать, когда неприятель нападет.

В его словах словно крылся какой-то подвох, что Василию не понравилось, но он решил подождать и постепенно разобратся, что кроется за его словами. Ссориться с новыми друзьями в его планы никак не входило, тем более, что других у него и не было.

Они прошли по плохо освещенному коридору, в самом конце которого Аполлон легко открыл дверь неизвестной ранее Василию каморки, находящейся под лестницей, ведущей в верхние покои. Там лежали старые мешки с чем-то, в углу стояли пустые ведра и лопаты, а у небольшого сводчатого окошка, заделанного решеткой, стояли лавка и стол.

– Располагайся, – предложил Ушаков. – Сюда из начальства никто не заглядывает, но на всякий случай дверь подопру изнутри палкой. И не шуметь, говорить только шепотом. Если застанет кто, то греха не оберешься...

– А зачем нам шуметь, мы все тихонько мальцу объяснять будем, если он понятливым окажется, – примостившись сбоку от стола, сказал Ольховский.

– Я тебе не малец. – Минович понял, что пора и за себя постоять, а потому решил дать сразу понять, что обращаться так с собой не позволит.

– Ой, да я совсем не хотел кого обидеть, прошу простить покорнейше, – притворно улынулся тот. – У нас принято всех младших учеников мальцами, а то еще и малявками звать...

– Кончай, Петруха, – остановил его Ушаков. – Играть еще не начали, а уже собачимся, – с этими словами он извлек откуда-то из-под одежды стопку аккуратно нарезанных листов плотной бумаги с картинками на тыльной стороне.

Миновичу прежде никогда не приходилось видеть игральные карты, поскольку в его родне никто игре в них был не обучен. Впрочем, однажды он заглянул в тобольский кабак на рынке и увидел, что подвыпившие мужики кидают на уставленный пустыми кружками и объедками стол замызганные бумажные листочки. Тогда он сообразил, что это и есть те самые карты, но особого интереса они у него не вызвали. А вот сейчас перед ним были карты подлинные, которые могут неожиданно принести ему если не счастье, но деньги. И в груди приятно защемило от неизведанного еще чувства.

Он осмотрелся вокруг, чтобы запомнить этот момент, но запоминать особо было нечего: облупленные стены, паутина в углу, грязные пыльные мешки. Самая обыденная обстановка, но было в этом что-то таинственное, что невозможно передать словами; крылась в их сходке некая потусторонняя сила, придававшая им вид заговорщиков. И сообщники его, перешедшие

на шепот, выглядели теперь иначе, словно они собрались здесь, вдали от чужих глаз, для чего-то большого и значительного.

«А если предложить им сейчас создать тайное братство? Что они ответят? – подумал Мирович. – Наверняка спросят, зачем... Что им скажу? Нет, надо придумать и совершить совместно какое-нибудь большое дело. К примеру, бежать на родину предков в Малороссию, а там собрать сторонников и...»

Дальше этого его планы не шли. Но он знал, придет срок – и он обязательно совершит что-то необыкновенное.

– Василий, ты слушаешь или нет? – донесся до него откуда-то издалека голос Аполлона.

– Конечно, слушаю, – тут же отозвался он.

– Юноша размечтался, как выиграет в карты целое состояние, – с неизменным ехидством вставил свое словечко Ольховский. Но Мирович не счел нужным отвечать и сделал вид, будто не слышал последней фразы.

– Карты лежат в колоде, в ней всего тридцать шесть штук с различными званьями: король, дама, валет... – начал пояснять все таким же свистящим шепотом Аполлон. – Еще есть четыре вида или, как говорят, масти карт...

Василий внимательно слушал и запоминал названия. Потом их раздали на троих и показали, как нужно ходить, чем отвечать и кто в результате выигрывает. Условия оказались необычайно простыми, и Мирович, обладая цепкой памятью, мигом их запомнил и уже при второй раздаче начал уверенно отвечать. Один раз он даже набрал столько же очков, как и Ольховский, но обыграть Ушакова у него никак не получалось.

Вдруг они услышали шаги за дверью, и кто-то осторожно подергал за ручку, пытаясь открыть дверь. Послышалось недоуменное бормотание, а потом шаги стали удаляться от двери. Аполлон моментально собрал карты, спрятал их у себя под кафтаном и приложил к губам указательный палец. Молодые люди замерли, а когда шаги стихли, Ольховский отставил палку, подпиравшую дверь, приоткрыл ее, осторожно высунул наружу голову, а потом помахал им рукой и первым вышел. Когда они шли гуськом по сумрачному коридору, то навстречу им из-за недавно растопленной сторожем печи кто-то шагнул, и Петр едва не налетел на него.

– Кто такие? – послышался сиплый голос Семеныча. – Чего тут шастаешь? – Он крепко вцепился в плечо Ольховского и развернул его лицом к свету.

В это время Ушаков нашел руку Мировича и потащил за собой. Они быстро проскользнули мимо стоявшего к ним спиной вахмистра и, на цыпочках пройдя несколько шагов, приуदारил бегом. Повернув направо по коридору, перешли, тяжело дыша, на шаг, а потом, даже не попрощавшись, отправились каждый в свои покои. В комнате, где поселили Василия, все спали, и он в темноте тихо нашел свою кровать, разделся и забрался под одеяло. Но сразу уснуть не мог. Ему виделись яркие рисунки карт, со свистом опускающиеся на стол, где короля неожиданно бил валет или совсем никчемная шестерка, а четыре собранные вместе валета могли даже обеспечить выигрыш в игре. Валет ему особенно чем-то нравился. Может, он видел в этой далеко не главной, но порой важной фигуре себя самого? А если таких соберется трое или четверо, то сообща они могут много чего совершить.

Возбуждение Василия было столь велико, что хотелось куда-то бежать, громко закричать: «Я могу! Я знаю, как это сделать! Вы еще обо мне услышите!» Но, если бы кто его спросил, что он хочет сделать, он вряд ли ответил бы что-то вразумительное. Просто внутри у него, еще начиная с Тобольска, вызревал протест против всего, что произошло с его семьей и с ним самим. Хотелось что-то изменить, мир перевернуть, добиться иной жизни, а не этой скучной учебы вначале в семинарии, а теперь в Шляхетском корпусе. Он-то знал, что создан для большего, а не для заучивания латыни или воинских уставов. Он мог бы командовать полком и даже армией, но кто допустит его туда? Для этого нужно родиться генеральским сыном, а не от ссыльного отца.

Ему захотелось отправиться на войну и там показать, на что он способен. Но и здесь он не представлял, как может прославиться. Броситься под пушечный заряд? Смешно, да и кому он нужен мертвый... Убить нескольких человек в сражении? Он представил себе, как врывается верхом на коне в гущу вражеского строя и там крушит неприятеля направо и налево, захватывает в плен вражеское полковое знамя и с ним в одной руке возвращается в свое расположение и бросает его под ноги главнокомандующему. Тот, удивленный и растроганный, снимает с груди самый главный боевой орден и вешает на грудь ему, Василию. Потом его отправляют с донесением в столицу, вводят во дворец, представляют императрице, и она милостиво протягивает ему руку для поцелуя и спрашивает: «Как тебя звать, храбрый воин? Чей будешь сын?» И вот тогда он ей признается, что его отца и деда незаслуженно обидели, отправили в Сибирь и чего ему стоило пробиться наверх, отличиться в бою... А императрица наверняка ответит: «За твой подвиг прощаю всех твоих родственников и возвращаю вам поместья и земли... И пусть Мировичи...»

5

– Мирович, Мирович... – услышал он чей-то голос.

«Кто это? Неужели зовут меня? Куда?» Он открыл глаза и увидел, что уже утро, а рядом стоит сосед и пытается его разбудить.

– Ну, и силен же ты спать! – смеялся тот. – Пора на общее построение выходить. Опоздаешь – оставят без завтрака, – и он, уже одетый, быстро вышел.

Василию совсем не хотелось вставать. Он думал, что если досмотрит свой сон, то обязательно узнает, что ему нужно сделать, чтобы прославиться... Но опаздывать на ежедневное построение было никак нельзя. Потом будут занятия по латыни, фортификации и математике, но часть из того, что им преподавали, он знал уже с семинарии, тем более что в тобольской бурсе от них требовали даже меж собой общаться на латыни. Фортификация же его не интересовала совершенно, зато в конце недели всех обещали вывести на стрельбы, где они впервые сделают несколько холостых, а потом и настоящих, боевых выстрелов. Этого он ждал, надеясь быстро освоить стрельбу из мушкета, который пока что даже в руках не держал. Были еще занятия по фехтованию, но там все сводилось к запоминанию основных позиций, выпадов, обманных движений. К тому же на всех не хватало учебных эспадронов, а потому половине кадетов давали в руки обыкновенные, гладко вытесанные из березы палки и заставляли выполнять упражнения с ними.

Самым же неприятным не только для него, но и для всех было маршировать на плацу. Причем приходилось заниматься «шагистикой», как кадеты окрестили эти занятия, практически в любую погоду. А если у кого-то не получалось, оставляли всех и гоняли до изнеможения, пока наверху не открывалось окно начальника корпуса и тот не подавал сигнал неугомонным фельдфебелям, что пора заканчивать строевые занятия. Зачем им, будущим офицерам, нужна муштра? Пусть этим занимаются рядовые, им же, кадетам, совсем не обязательно знать все тонкости поворотов через правое плечо и тем более, ходить в ногу. Лучше бы побольше учили верховой езде в манеже, куда они ходили всего раз в неделю. Почти все сверстники Василия, выросшие в усадьбах, а не в ссылке, как он, умели седлать коней и хорошо держались в седле. Ему же в детстве приходилось ездить верхом, но без седла. В семинарии его частенько отправляли на реку за водой, и он умудрялся без пригляда старых монахов забираться верхом на тощую лошаденку, но это даже нельзя назвать настоящей верховой ездой. Поэтому во время конных занятий остальные кадеты подсмеивались над ним, называя его пешим казаком, но он терпел насмешки и не показывал вида, знал: научится и этому и будет скакать не хуже других, как делали его деды и прадеды.

А больше всего в такие минуты ему хотелось перенестись в те места, где жили когда-то его предки и были действительно славными казаками, могли много верст проскакать верхом, не слезая с коня, ходили в походы, рубились с врагами, и все им было нипочем. Бабушка много раз рассказывала ему, в каких сражениях участвовал его дед, переяславский полковник Иван Мирович. Как он привозил домой добытую в бою добычу, приводил пленных, а потом они несколько дней праздновали очередную победу, приглашали к себе в дом друзей и соседей. И каждый раз, глядя на тех, с кем он жил под одной крышей, Василий думал: «Вот, из-за ваших отцов я остался без родного дома и столько лет скитаюсь на чужой стороне, а моя бабка не имеет на старости лет даже собственного угла, где могла бы достойно дожить до смерти. Это все ваша вина, с которой, видимо, и умирать придется...»

Но то были редкие вспышки злости и недовольства, которые тут же гасли. Он хорошо понимал, что нет в том вины этих молодых людей и даже отцы их тоже не виноваты. Виноваты другие, но имен их произносить даже про себя он не хотел, понимая, насколько опасно и тяжело жить с такими мыслями, и всячески гнал их от себя, пытаясь винить судьбу, выпавшую на его горькую долю. А судьбу можно обмануть, если повезет, как в картах.

Чаще всего мысли Василия были заняты мечтами или думами о себе и о своем будущем. Поэтому мало кто из кадетов его набора предлагал ему свою дружбу. Видимо, он резко отличался от сверстников своим вечно сосредоточенным видом, словно пребывал в ином, неведомом другом мире, за что на занятиях его часто поднимали с места и просили ответить, что учитель только что рассказывал. В то же время многие учителя отличали Василия от остальных его собранностью и послушанием. Но если бы кто из них знал, какие страсти и планы одолевают этого скромного и вечно насупленного воспитанника, то были бы несказанно удивлены, а то бы и доложили о том по начальству. Ибо, как известно, именно из таких тихих и незаметных молодых выходили чаще всего бунтовщики и мятежники.

Однако офицеры, занятые обучением молодых кадетов, больше судили о своих воспитанниках по их поведению, ответам на занятиях. А вот заглянуть к ним в душу не мог даже исповедовавший их батюшка. В храме к нему на исповедь обычно выстраивалась длиннющая очередь, поэтому приходилось приглашать в особо большие праздники кого-то из соседнего прихода. Те терпеливо выслушивали обо всех провинностях, что сообщали им юноши, быстро покрывали их выдавшей виды епитрахилью, читали отпускную молитву, и обычно всем исповедующимся разрешали подойти к Святому причастию. Никому и в голову не пришло спросить того же Василия Мировича или кого другого, о чем они думают. Да и что они могли услышать в ответ? Почти все думали о доме, о родителях, о сытной кормежке, о том, как бы побыстрее закончить курс и уехать или к месту назначения, или хоть недолго побывать в родительском доме, где им всегда рады и ждут.

Только вот Василия никто не ждал, и дома у него не было, а во время исповеди, еще в семинарии, он научился открываться ровно настолько, как того требовали церковные каноны: рассказывать о совершенных прегрешениях. И он без утайки сообщал насупленному батюшке, мол, не всегда внимательно читает молитву, не выполняет заданий, грубо ответил товарищу... И не более того.

Об одолевающих его страстях он вряд ли сообщил бы даже под пыткой. При этом считал, что благодаря мечтаньям его жизнь приобретает иной, более глубокий смысл и оттенок. Тем более, всегда можно выдумать новые ситуации, в которых он мог бы участвовать. Потому и не мог он открыться батюшке или кому другому, сколь страстно ненавидит того, по чьему распоряжению были высланы его отец и остальные Мировичи. И его бы воля, он бы расправился со своими недругами, как повар, поймавший на обед курицу. Порой он даже ощущал, как сжимает в руке кинжал, приготовленный для расправы.

Но за такие откровения он мог бы уже завтра оказаться сначала на дыбе, а потом и на плахе. Та же бабка рассказывала ему и об этом и советовала не откровенничать ни в разговорах

с друзьями, ни на исповеди. «Богу виднее, кому отпускать грехи, а кому нет. Вот перед ним и покаяйся, он и простит...» – говорила обычно она. И еще она рассказывала, кого из ее знакомых забирали на каторгу после откровений на исповеди. «Царь Петр повелел, чтоб все, кто против него чего замысленное хоть где услышат, немедленно доносить, кому следует. А уж кому лучше всех мысли наши известны, как не батюшкам, так что тот указ и о них касателен...» С тем и рос Василий: сообщать лишь то, что не будет караться людским судом, а все остальное хранить в себе и доверяться лишь Богу. И никому другому.

6

Весной, когда кадетов собирались вывезти в летние лагеря, начальник корпуса собрал у себя всех офицеров, что вели занятия в младших классах. Там он попросил их назвать имена тех, кто мог быть удостоен чести исполнять обязанности сержантов в своей роте без присвоения им армейского чина. По этому случаю им выдавали специальный шарф и шейный знак на цепочке, именуемый горжетом. Кроме прочих, была названа и фамилия Василия Мировича. Генерал Игнатьев чуть задумался, вспомнил, с каким вопросом приходил к нему кадет Мирович, но потом решил: одно другому не помешает и одобрил решение офицеров.

На другой день на общем построении Василий, как всегда пребывавший в задумчивом состоянии, вдруг услышал свою фамилию, сделал два шага из строя, и ему вручили шарф и горжет сержанта корпуса. Вот тогда, едва ли не впервые в жизни, он испытал настоящую радость и решил, что Господь услышал и одобрил его мечтания, что он все делает правильно и находится на верном пути.

Добавило радости и то, что после построения к нему подошли несколько человек теперь уже из «его» подразделения и поздравили с полученным званием. Правда, он заметил, что некоторые делали это неохотно, явно думая, что их незаслуженно обошли, но это было даже приятно осознавать. Он был отмечен самим генералом, а потому теперь его обязаны слушать и подчиняться.

«И это только начало, – думал он, выслушивая поздравления и с долей превосходства поглядывая на стоявших подле него кадетов. – Дальше я должен стать первым в корпусе и получить самое лучшее назначение в войска. Я это заслужил страданиями не только своими, но и всех моих предков...»

Теперь он знал, чего добиваться и как нужно себя вести. У него была цель, и он знал, что достигнет ее. Рано или поздно, но доползет, доберется до нее, и тогда... Что будет тогда, он еще не мог представить, но это пока было и не нужно. Дальше все ему откроется, и Господь поведет его, помогая во всем, что бы он ни задумал и ни предпринял. Ведь Бог любит униженных и страдающих... При этом он добавлял: «За правду», но что есть правда в этом мире, опять же ответить не мог, а поэтому ничуть не мучился над разгадкой, считая, она сама решится, когда это будет необходимо.

После того памятного случая, когда кадетов чуть не застал за игрой в карты вахмистр Семеныч, прошел изрядный срок. Василий больше не проявлял инициативы найти Ушакова или Ольховского, а они, то ли напуганные этим случаем, то ли по другой причине, тоже не стремились встретиться с ним. Лишь однажды, на стрельбах за городом, куда вывели весь Шляхетский корпус, он увидел их в рядах одной из рот, уже отстрелявшихся и возвращавшихся обратно. То, что встреча с вахмистром прошла без последствий, он понял. Ольховский сумел каким-то образом вывернуться и не выдал остальных. Но короткое знакомство с картежной игрой оставило у Василия самые яркие воспоминания, и он несколько раз ловил себя на мысли, как бы вновь сразиться с кем-то, а то и... попробовать играть на деньги. Хотя он хорошо понимал, чем грозит ему даже самый малый проигрыш в случае, если он у кого-то даже попросит денег взаймы. Проиграй он их – и все, конец. Отдавать будет нечем.

Он вспомнил, как в Тобольске время от времени зарабатывал тем, что писал прошения неграмотным крестьянам, приезжавшим специально в город из деревень, чтобы подать какую-то нужную им бумагу в губернскую канцелярию. Большинство из них обращались к дьякону, служившему в храме возле канцелярии, а тот, за обычной своей занятостью, отправлял их к кому-то из знакомых семинаристов, среди которых был и он, Василий Мирович. Здесь же, в Петербурге, у него такого знакомства не было. А как самому найти просителей – а они непременно были, их не могло не быть в столице, куда стекались просители и ходатаи со всей России, – он не представлял. Даже в молитвах он стал обращаться к Богу, чтоб тот помог ему познакомиться с кем-то из них, и стал захватывать с собой на прогулки бутылочку с чернилами и заточенное гусиное перо, пряча их от посторонних глаз в шапку.

И вот однажды ему повезло. Во время прогулки в свободное время неподалеку от здания сената к нему обратилась не старая еще женщина, сопровождаемая пареньком, немного моложе самого Мировича:

– Сударь, не подскажете, куда следует обратиться, чтоб написать прошение на имя государыни? Мы прибыли из Тверской губернии, а здесь, в столице, у меня никого из знакомых нет и помочь некому.

Ее речь и манера держаться выдавали в ней женщину воспитанную, а чистая, опрятная одежда, хоть и отслужившая хозяйке не один сезон, говорили о том, что когда-то эта дама могла позволить себе одеваться богато и изысканно, но, судя по всему, времена те давно прошли.

– А гербовая бумага у вас имеется? – тут же спросил ее Василий, возликовав в душе, что Господь наконец-то внял его молитвам.

– Да откуда же у меня ей быть? – ответила удивленно женщина. – Да я и не знала, на какой бумаге его писать надо. Раньше этим мой покойный муж занимался. Сделайте милость, объясните бедной вдове, как поступить, готова хоть немного, но отблагодарить за помощь вашу. Состояния у меня никакого нет, все задолго до смерти своей муж мой спустил, а теперь вот сосед-злодей покушается на имение наше, якобы за какие-то там долги, мужем оставленные...

Мирович повел ее в лавку, где продавалась специальная бумага для написания подобных прошений, которую он заприметил еще давно и на всякий случай держал в памяти, надеясь, что знание это ему пригодится. Там вдова приобрела требуемый для прошения лист, посетовав на дороговизну, и Василий повел их в ближайший трактир, также запримеченный им для подобных случаев. Там они выбрали стоящий у окна свободный стол и сели за него втроем. Мальчик, судя по всему, ее сын, что-то прошептал на ухо женщине, и та кликнула слугу, чтобы принес им что-нибудь перекусить. Пока они ждали еду, она принялась объяснять Василию, в чем заключается суть ее дела.

– Муж мой оказался человек непутевый, хоть и дворянин, и оставил нас с сыном, – тут она кивнула в сторону мальчика, который за все это время не произнес ни слова, – без гроша в кармане. Куда он дел мое приданое, ума не приложу, но этого теперь не вернуть, а уж сколько я слез пролила, как одни остались и о его долгах узнала, о том и заикаться не стану. Но главная беда недавно пришла... – Она чуть помолчала, чтобы собраться с силами, и наконец продолжила:

– Пожар у нас в усадьбе вышел, и хотя удалось потушить вовремя, но выгорел от оброчной свечи кабинет моего супруга, где все бумаги наши хранились. А среди них была купчая на приобретение того имения, где мы и проживаем. Как о том узнал бывший ее владелец, человек известный и со связями, не знаю. Но он обратился в суд о восстановлении своих прав на имение. На суде от меня потребовали предъявить купчую, а от нее один пепел остался. Спросили, были ли свидетели при совершении сделки, а мне о том что известно? Я в то время на сносях была, сына ждала, – она вновь кивнула в сторону мальчика, который торопливо хлебал принесенный слугой суп, – мне о том ничего неизвестно. Дали месяц для подтверждения прав. Ну, я думала-думала, и поехала в столицу, может, хоть здесь управу найду на обидчика своего.

Мирович терпеливо выслушал ее, соображая, как правильно составить прошение, чтобы на одном листе изложить суть дела и при этом не ошибиться и не потребовать новый чистый лист, который стесненная в средствах вдова вряд ли согласится приобрести за свой счет. Ему тут же вспомнилось собственное прошение, что еще по осени он отправил на имя государыни и до сих пор не получил никакого ответа. Вряд ли и эта женщина добьется чего-то, не имея на руках нужных документов. Он вдруг спросил ее: умеет ли она сама писать, а если да, то почему собственноручно не написала прошение? Та в ответ обиженно поджала губы и подтвердила, что грамотой владеет, но не знает, о чем именно следует писать. Тем более в таком состоянии вряд ли сможет изложить ясно суть дела.

Мирович выслушал объяснения, поинтересовался, какую фамилию она носит, где находится имение и кто бывший хозяин, что претендует нынче забрать его обратно. Потом он пересел за соседний стол, чтобы ему никто не мешал, извлек из шапки свои письменные принадлежности и сосредоточенно принялся писать. Он в нескольких предложениях не только описал суть дела, но отдельно остановился на бедственном положении вдовы. А от себя добавил, не вдаваясь в подробности, что родители несчастной женщины были достойные люди и весь род ее служил верой и правдой батюшке императрицы, надеясь, что проверять эти сведения вряд ли кто станет. Еще чуть подумав, приписал об обидах, чинимых ей со стороны бывшего владельца усадьбы, и о том, что после смерти мужа она осталась на руках с малолетним сыном.

После этого, дождавшись, когда чернила высохнут, вернулся обратно к терпеливо поджидавшей его просительнице и положил свое творение перед женщиной. Она близоруко сощурилась и, чуть шевеля губами, принялась читать его. Уже дойдя до конца листа, она вдруг наморщила носик, и из глаз у нее побежали слезы. Василий поспешно схватил лист, боясь, что он может быть испорчен бурным проявлением чувств плачущей женщины. Она же быстро успокоилась, промокнула глаза батистовым платочком и тихо произнесла:

– Благодарствую, сударь. Даже не ожидала, что можно все изложить столь гладко. Будто бы все обо мне знаете. Но ведь это не так, правда? Ума не приложу, каким образом вы догадались. Но, видимо, душа у вас добрая, а может, и сами пострадали не меньше моего. Думаю, Бог отблагодарит вас за добрые дела ваши.

Потом она извлекла из дамской сумочки потертый замшевый кошелек, раскрыла его и долго там рылась, производя в уме какие-то подсчеты, и наконец, помявшись, извлекла на свет две серебряных монеты достоинством по пятьдесят копеек. Мирович глазам своим не поверил, потому что за подобную услугу в Тобольске ему платили не больше пятака, а тут – целый рубль. Но радость его продолжалась недолго, поскольку вдова вдруг решительно убрала один полтинник обратно и поднялась из-за стола. Но и этого было вполне достаточно. Василий зажал потертый серебряный полтинник в кулаке и так разволновался, что чуть не оставил за соседним столом свои письменные принадлежности, если бы слуга не остановил его и молча не показал глазами на них.

Когда он уже в одиночестве вышел на улицу, ярко сияло солнце и мимо, как обычно, спешили куда-то люди, скакали всадники, кричали зазывалы из находящихся неподалеку торговых рядов. Казалось, он попал совсем в иной мир, не подозревая раньше о его существовании. У него впервые появилась такие деньги, и он мог их тратить на что угодно. «Но это только начало, – подумал он. – Я теперь каждый день буду выходить к сенату и там поджидать таких вот просителей. А когда заработаю кучу денег, то...» – что будет тогда и как он потратит свои деньги, Василий пока представить не мог, но твердо знал, с этого дня у него обязательно начнется новая жизнь.

С тех пор прошло чуть больше месяца, и зима потихоньку оставляла столицу. Наступление весны в Петербурге можно было ощутить по сырому ветру, задувавшему со стороны близкого моря, и по образовавшейся наледи на дорогах, небольшим пока сосулькам на водостоках и появлению несметного числа воробьев на улицах. Идущие навстречу Василию прохожие прижимали к себе полы плащей, женщины натягивали до самых глаз платки, а стоявшие возле государственных служб на часах гренадеры нет-нет да и ловили одной рукой сорванную с головы треуголку, пытаясь сохранить при этом строгое выражение лица.

На перекрестках в обилии появились лотошники со снедью. Они как-то особенно держали свои лотки на кожаной петле, закинутой на шею, умудряясь размахивать свободными от ноши руками, едва не хватая за одежду спешащих мимо по своим делам прохожих.

Поначалу Василий останавливался чуть ли не возле каждого из них, прикидывая, на что можно истратить остаток из полученных за написание прошения денег. После написания неутешной вдове памятного ему прошения ему повезло всего лишь раз, когда в том же трактире, куда он стал заходить, как только удавалось вырваться в город, познакомился с подвыпившим мужичком из-под Твери. Тот очень желал узнать, где состоит на службе забритый в рекруты его младший сын, и специально для того приехал в столицу. Здесь он обошел все стоявшие в городе полки, спрашивая, не знает ли кто его Тимоху. Сердобольные караульные за кусок сала, несмотря на начавшийся пост, выводили из казармы всех отозвавшихся на их крик Тимофеев, но сына именно тверского мужичка не нашлось.

Окончательно потеряв надежду, он и завалился в трактир, выпил там несколько кружек браги, коей хозяин торговал из-под полы для таких вот заезжих бедолаг, разоткровенничался, и кто-то посоветовал ему написать письмо главнокомандующему, а то и самой государыне. Тут и услышал его стенания Василий, предложив свои услуги. Деньги на лист обычной, не гербовой, бумаги мужичок еще отыскал, но, заполучив письмо, платить наотрез отказался. Взамен он всучил новоявленному писарю кусок оставшегося сала и развел руками. Мол, делай, что хочешь, а денег у него нет совсем. Василий чертыхнулся, хотел огреть мужика этим же куском, но сдержался и обменял его прямо здесь, в трактире, на тарелку горячего супа и каравай черного хлеба.

Ничем закончились и другие его попытки заработать хоть что-то через написание прошений. После нескольких посещений облюбованного им трактира, где он, не имея денег, ничего не заказывал, а лишь молча сидел в углу, ожидая встречи с кем-то из случайных жалобщиков, хозяин, и без того хмуро поглядывавший в его сторону, однажды преградил ему дорогу и пообещал пожаловаться кому следует, если еще хоть раз увидит его на пороге. Не оставалось ничего другого, как бродить поблизости от сената, зорко высматривая подходящих клиентов. Но к нему подходили, интересовались, как пройти к почтовой станции, где можно переночевать, а то и вовсе озадачивали вопросом, куда можно сунуться по нужде. Волей-неволей, а Василию приходилось хоть как-то отвечать на вопросы, чтобы не производить впечатление деревенщины.

Постепенно он освоился и с этим родом занятий, приноровился к нему и вскоре узнал для себя много интересного и даже составил некоторое представление, зачем большинство народа приезжает в столицу. Люди состоятельные и те, кто не первый год жил здесь, с подобными вопросами к нему просто не обращались и лишь кидали удивленные взгляды в его сторону, когда он с готовностью улыбался им, готовый к тому, что его сейчас обязательно о чем-то спросят. Он даже перезнакомился с несколькими лотошниками, приметившими его, что не без риска для себя и товара выходили торговать в центре столицы без специального на то разрешения.

Но однажды на него наткнулся офицерский патруль, выскивавший пьяных военнослужащих. Старший из них спросил у Мировича, почему он тут околачивается и имеет ли при себе разрешение на выход из учебного корпуса. Василий поначалу растерялся и хотел просто дать деру, надеясь на быстроту своих ног. Только вдруг в нем разыгралось какое-то озорство, и он, понизив голос до шепота, сообщил на ухо старшему из патрульных, мол, отлучился из корпуса по собственной инициативе, поскольку стоял у главного входа и вдруг заметил проходящего мимо подозрительного господина. Тот что-то высматривал и вынюхивал повсюду и вел себя не так, как все остальные. Василий самозабвенно врал, как тот господин встретился на мосту с другим таким же подозрительным, как и он, человеком и тайком передал ему какие-то бумаги.

– Так я и дошел за ним вот сюда, а тут и вас встретил, думал, сейчас окликну. Оглянулся, а того господина уже и нет, скрылся. Видать, тоже вас испугался...

Старший офицер с оторопью взглянул на искренне тарачившего на него свои черные глаза кадета и с недоверием спросил:

– И как выглядит тот господин? Показать можешь?

– Если мы его нагоним, – с готовностью отозвался Василий. – Пока мы говорили тут, он мог уже далече уйти...

– За мной, – скомандовал офицер спутникам и, схватив Василия за плечо, широко зашагал в том направлении, что тот указал.

Вскоре они действительно нагнали господина в черном, до пят, плаще и круглой бобриковой шапке, натянутой на самые глаза. Василий, не раздумывая, ткнул в его сторону пальцем и остановился. Патрульные ускорили шаг, стремясь нагнать подозрительного прохожего, а Василий тем временем шмыгнул в ближайшую подворотню и кинулся бежать в сторону Шляхетского корпуса, боясь, как бы патрульные, разобравшись с неизвестным, не бросились ловить его самого. Бежал он, сокращая себе путь, через проходные дворы и мало кому известные переулочки, потому как довольно хорошо изучил за время своих блужданий центр города, и скоро оказался в своей казарме. Там он быстренько переоделся и схватил в руки первую попавшуюся книгу, сделав вид, будто бы занят ее чтением.

Не прошло и часа, как внезапно объявили общее построение в парадной зале. Мирович, почуяв недоброе, хотел было где-нибудь спрятаться, но потом решил, все одно будут отмечать всех не явившихся, а это еще хуже. Поэтому счел за лучшее явиться на построение, но на всякий случай перетянул щеку шейным платком под предлогом, что у него разболелись зубы. К тому же построение могли объявить совсем по иной причине, а не для выявления кого-то провинившегося, кем он себя сейчас ощущал.

Мелкие происшествия в последнее время стали случаться все чаще, и начальство чуть ли не через день объявляло общее построение для выявления виновных. Чаще всего в корпус приходили торговки с рынка, у которых, по их словам, кадеты воровали с лотков калачи и шаньги. Когда к ним выходил кто-то из старших офицеров, они клялись и божились, что запомнили приметы воришки и смогут безошибочно его опознать. Действительно, кадетов легко можно было отличить по серой суконной форме, в которую они все были одеты, но найти обидчика среди нескольких сотен его ровесников было делом нелегким. Может, сердобольные женщины действительно не успевали запомнить налетчиков, которые чаще всего подсакивали к ним группой из нескольких человек, и пока один отвлекал хозяйку разговорами, другой тихонько грузил в шапку то, что мог достать, а потом все дружно разбежались в разные стороны. Так или иначе, но ни разу еще посредством хождения по рядам выстроенных по этому случаю поголовно всех кадетов узнать похитителей съестного не удалось. Может, торговки, сами вынырившие не одного ребенка, понимали, что не от хорошей жизни и не из озорства крадут будущие офицеры их калачи и ватрушки. И потому, глядя на их бледные, изможденные от долгих занятий лица, просто жалели воришек, делая вид, будто не узнавали похитителей. Тем более, во избежание очередных слухов и разговоров, и без того регулярно витавших вокруг кадет-

ского корпуса, начальство после безрезультатных проверок, махнув рукой, вручало им некоторую сумму, обычно в несколько раз превышавшую стоимость пропавшего у них товара.

Частые налеты кадетов на местный рынок можно было объяснить тем, что по весне начались перебои с поставками муки и воспитанников кормили все больше кашей и пустыми щами. Тем более шел Великий пост, нарушать который официально начальство не могло при всем желании. Вот голодные кадеты и восполняли недостаток питания за счет похищений на рынках. Не помогало усиление дежурств в казармах, куда направляли старшекурсников. Те тоже были не против получить свою долю из уворованного и тишком отпускали парней побойчее совершать налеты на рынки, а потом всячески тех покрывали.

Когда Мирович вошел в актовЫй зал, там собрались почти все кадеты, причем некоторые были одеты отнюдь не по уставу. У многих были заспанные лица, иные откровенно зевали, прикрывая рот пятерней. Василий поспешно встал во второй ряд и в тягостном ожидании уставился в сторону двери, через которую обычно входили корпусные офицеры, ожидавшиеся общего построения у себя в кабинетах.

Наконец послышались шаги по коридору, бряцанье по половицам кованых сапог. Двери распахнулись, и вошел сам начальник корпуса генерал Игнатев с боевыми наградами на камзоле, а затем и остальные корпусные офицеры и их помощники. Меж ними шел, к ужасу Василия, тот самый патрульный, что не так давно остановил его близ здания сената. У Василия все похолодело внутри, и он стал подумывать, не снять ли с лица платок, поскольку этим он выделялся среди своих товарищей. Однако, приглядевшись, заметил еще несколько человек точно с такими же повязками на лицах, видать, всерьез простудившихся в плохо отапливаемых казармах.

Топить весной прекращали очень рано. Разрешалось брать дрова лишь в том случае, если в помещении становилось по-настоящему холодно и вода для питья застывала в стоящих в спальнях комнатах кувшинах. При этом все воспитанники начинали не в такт клацать зубами и дружно чихать, на что дежурный офицер приказывал плотнее укрываться худенькими одеялами, заверяя, что во время военных действий в офицерских палатках будет тоже не очень-то жарко. Василий, чуть подумав, решил тоже сказать простуженным и оставить повязку, но голову опустил вниз, стараясь не встречаться взглядом с патрульным, который, войдя в зал, встал чуть в стороне от остальных офицеров и внимательно разглядывал стоявших двумя шеренгами вдоль стен кадетов.

Меж тем командиры рот зычно скомандовали:

– Первая рота! Стоять смирно!

– Вторая рота! Смирна-а-а!!

Потом по очереди подошли к начальнику корпуса, отдали честь и отрапортовали:

– Первая рота построена!

– Вторая рота построена!

Начальник, приняв от них рапорт, без малейшей паузы обратился к собравшимся:

– Здравия желаю, господа кадеты!

– Здрав-ви-ия же-ла-ем, ва-ше вы-со-ко-пре-во-схо-ди-тель-ство!!! – не совсем дружно отозвались те.

– Вольно, – отдал очередную команду генерал Игнатев. – А теперь, господа, прошу сделать два шага вперед того, кто не далее, как час назад, будучи в городе, указал военному патрулю на некоего подозрительного господина, а потом по неизвестной причине скрылся.

В актовом зале наступило тягостное молчание, и лишь в дальнем его углу слышалось негромкое шушуканье тихо переговаривающихся меж собой воспитанников старших классов. Мирович весь напрягся. Ему показалось, будто сейчас у него в мозгу что-то взорвется и он упадет без чувств. Он уже представил, как его за нарушение дисциплины публично накажут отправкой в карцер, а то и вовсе отчислят из корпуса. Куда ему тогда деваться? Ехать к бабке

в Малороссию? Возвращаться в родной Тобольск? Или определяться в солдаты и тянуть с рекрутами общую лямку?

«Нет, лучше смерть, но только не позор, – подумал он про себя. – Если только меня опознают, убегу и брошусь в реку. Утону, но не переживу позора».

Действительно, одно дело было стащить у торговков пирог или калач, и совсем другое – ввести в заблуждение военный патруль. Это уже преступление серьезное...

«А может, патрульный не опознает меня? – пронеслась в голове успокоительная мысль. – Обычно торговков ведут перед строем, а тут почему-то пришедший военный стоит в стороне и не пытается найти кого-то».

– Как вижу, наш герой страдает излишней скромностью и не желает признаться в своем поступке, – громко произнес генерал Игнатьев. – А зря. С его помощью патрульные задержали господина, не имевшего при себе паспорта и к тому же не говорящего по-русски. Как выяснилось, в столицу он прибыл не откуда-нибудь, а из самой Пруссии, с которой у нас очень непростые отношения. Но это уже не наше дело, и кому положено, разберутся с тем господином. Но вот задержать его помог один из наших кадетов, за что ему честь и хвала. Так он здесь? – повторил генерал свой вопрос. – Пусть выходит без всякого стеснения, а то потом будет поздно.

Василий, понимая, что момент может быть упущен, сорвал с лица ставшую ненужной повязку и, не поднимая головы, сделал два шага вперед, застыв перед строем.

– Подойди ко мне, – поманил его рукой генерал. – Кто таков?

– Кадет Василий Минович, – отрапортовал тот, подойдя на несколько шагов к генералу.

– Что же сразу не вышел? Больно стеснителен, – покачал головой Игнатьев, – на тебя это не похоже. Не ты ли по зиме приходил ко мне в кабинет с каким-то делом?

– Так точно, – гаркнул Минович. – Я приходил.

– Тогда не побоялся, а тут вон какая напасть на тебя напала. Не пойму что-то тебя. Ладно. Господин капитан, – обернулся он к патрульному офицеру, – он вам указал на того господина? Поглядите хорошенько, а то... всякое бывает... молодо-зелено. Боюсь, чтоб ошибки не случилось...

– Да вроде он, – не очень по-военному отозвался капитан. – Я его лица, если признаться, не рассмотрел, а потом погнались догонять того господина, и совсем не до него стало. Но разговорит, что он, значит, так оно и есть.

– А мы сейчас это проверим, – усмехнулся генерал. – Скажи-ка мне, молодец, где ты с патрулем встретился? Надеюсь, этого не забыл от лишней своей скромности? Ну, отвечай живо...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.